

ПРОЗА

Катя Бурнашова

Б Е Э А Д А М А

Ф а н т а с т и ч е с к а я П о в е с т ь

в д в у х ч а с т я х

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗАМУЖЕСТВО

Глава первая

- Что это ты такое ешь?
- Угадай. - Люба жевала, закрыв глаза.
- Смесь какая-то отвратная, вроде творога с чем-то жирно-сладким.
- Не нравится?
- Да все понять не могу, ты жуй по очереди.
- Сейчас что?
- Творог, гнусный, безвкусный, в кислой моче вымоченный.
- Дурак, это простокваша.
- Ничего себе стали простоквашу делать... А это что-то по-нормальнее, сладкое, с чаем надо.
- Как называется, забия?
- Упоминать тут.
- Торт. Нравится?
- А зачем ты его такой дрянью запиваешь? Чай что ли вскипятить не могла?
- Понимаешь, мне торт вредно, вот я и запиваю его полезной простоквашей. Она, правда, уже с месяц в холодильнике торчит. Здесь больше ничего не оказалось полезного.
- И у вас теперь все так едят?
- Да нет, просто я люблю вредное и полезное, а среднее мне есть неинтересно.
- Торт почему вредно?
- Толстеешь от него. Я же летать не смогу, сколько раз можно объяснять!
- Тьфу ты, совсем забыл. И у вас теперь все тетки летают?
- Ну, есть больные, они не могут, жалко их так, их никогда не посещает вдохновение.
- А тебя, значит, посещает?

- Да редко... Знаешь, не смеялся только... у меня были озарения, два раза... насчет смысла жизни... как будто я его вдруг почувствовала...

- И в чем же смысл этот? Просвети-ка.

- В том-то и дело, что этого не объяснить никак. Просто видишь нелепость какую-нибудь, глупость ужасающую и понимаешь, что это для жизни самое свойственное и есть, что мир на этой нелепице стоит, и что всегда так было, есть и будет.

- Что-то не больно утешительный твой смысл.

- Да нет, понимаешь, самая суть этого озарения и есть, что жизнь прекрасная именно потому, что в ней все так глупо и нелепо... Вот, собираешься сделать что-нибудь важное, навоображаешь себе...

- Ну, это ерунда, никогда не получается все так хорошо, как задумал.

- Ну да, не получается, получается все настолько не так, настолько по-идиотски, что понимаешь вдруг, как это хорошо, что так по-дурачки все выходит, что так гораздо лучше, что жизнь в сотни раз мудрее нас и происходит в ней все намного интереснее, чем может вообразить самый что ни на есть фантазер. Потому-то и прекрасна.

- Ну да, все, что ни делается, к лучшему.

- В том-то и дело, что не всегда... И еще, знаешь, во второе, по-моему, озарение меня стукнуло, что все это я буду понимать еще и еще, что это безгранично и что это тоже замечательно. Такой счастливой себя чувствуешь, и ничего никому объяснить не можешь... только ох и ах.

- И-да-а. А с чего у тебя были эти озарения?

- Почему-то все от любви.

- Ну какая тут у вас может быть любовь? У вас и мужчин-то нет.

- А разве можно любить только мужчин? Я женщину любила.

- Знаешь как это называлось в наши старые времена? Извращения. Женщины мужчинам должны любить и жить с ними. А вы нас всех повывели, в банки заспиртовали - вот и бастуетесь. Вы же здесь все психами давно стали. И заскоки твои тоже от этого, хоть ты и называешь их иначе... Мужа тебе

надо, детей рожать - вот и все твои сзрения.

- А зачем, думаешь, я тебя взяла? Я и хотела родить с тобой ребеночка.

- Да женщина с мужчиной рядом по земле ходить должна! Вы одни, без мужиков, и не можете-то ничего. Опора ни наша, понятно? А ты меня в себе как зародыш какой-то носишь.

- Вас пусти самих по земле шагать, такого нагородите! И так чуть всю землю в ключья не разнесли. Слава богу, вовремя спохватились и вас законсервировали. А не нравится во мне зародышем сидеть, так я тебя обратно исторгнуть могу - запросто.

- Ладно, не горячись ты, Любовь, носи уж. Кормила бы хоть по-человечески. Знаешь, чем нормальный мужчина питаться должен? - Мясом.

- Ой, а я мяса не люблю.

- А как же ты хочешь от меня ребеночка родить? Я и так в ячейках ваших ожилел совсем. Меня теперь откармливать надо... А как мы с тобой ребеночка зачинать будем? Изнутри?

- Ну что ты! Просто, когда я сочту нужным, я тебя выпущу.

- И когда ты, мать, сочтешь нужным меня выродить?

- Не знаю... Это по-идее, ночью нужно.

- Чтобы днем под ногами не путался. Разумно. Хотя ночью выпустить. А то второй день со мной ходишь, все выпустить не можешь. Целую ночь спал с тобой платонически. Зачем брала меня?

- Ну как ты не понимаешь? Сперва же полюбить надо.

- Как ты меня полюбишь, если ни разу в глаза не видела.

- Почему ни разу? Мы ведь смотрим на вас, когда выбираем. В ячейках глазки есть с луной, и мы видим вас в натуральную величину.

- И много ты мужчин так рассматривала?

- Ой, много. Я все боялась кого-нибудь не того взять. Думала, как же он будет жить у меня внутри, чужой совсем, знаешь, как страшно.

- А меня, значит, не испугалась.

- Просто дежурная орать начала: сколько, мол, можно ходить и на голых мужиков пялиться, бери любого, все они

одинаковые. Дема в кровати нальбуешься. А мне смену еда-
вать пора. Ну, и в таком духе. Я уже собралась так убе-
гать, сунулась в какое-то окошко, а там ты сидишь, весь
грустный такой. Я тебя и потребовала. Характеристику даже
прочитать не успела.

- Что же так неосмотрительно? Может, я подлый какой бан-
дит?

- Да какой ты бандит! Ты мне очень понравился. Я даже
удивилась, что за милый такой мужчина.

- А знаешь, мы, мужчины, вообще очень милые люди.

- Другие-то мне не понравились.

- А в меня, значит, с самого что ни вышло есть первого
взгляда влюбилась. Спасибо тебе, Любовь. Оказывается, пос-
ле тысячелетнего заключения в меня еще влюбиться можно.

- Какого там тысячелетнего! Ста лет, наверное, не бу-
дет.

- А куда вы всех мальчиков подевали, которые родились
у вас за эти годы? Задушили в младенчестве?

- Ну что ты. Их воспитывают в специальных питомниках,
учат, а потом консервируют.

- Чему ж вы их учите?

- Рыцарскому отношению к женщине. Они потом по самому
высокому разряду выдаются, за особые заслуги. Общественно
важные. У нас, знаешь, как воспитание поставлено? На выс-
шем уровне. Лучших специалистов туда посылают.

- Что ж ты себе не выбрала такого рыцаря без страха и
упрека?

- Не заслужила вот.

- А кто у вас решает, кто какого мужчину заслуживает?

- Начальница по работе рекомендует, а решает комиссия.

- А что, если ты меня ночью выпустишь, а я возьму и
сбегу? Как меня поймут?

- Никуда ты не сбежишь. Совсем-то вы не материализуетесь.
Вы ни ходить не можете, ни питаться самостоятельно.

- Да-а, в такую кабалу я кажется еще не попадал... Ну и
как у вас- женщины с мужчинами счастливо живут?

- По-разному, кто как. Мало счастливых. И то дуры одни
почти. Хотя вначале всем нравится. А бывает так, мучается

она с ним, не ладит, а исторгать жалко. Таких под суд отда-
ют и исторгают мужа насильно.

- По какой же статье их, бедняг, судят?

- За слабохарактерность. Сейчас, правда, способ изобрели
отключать временно сознание мужа. Немного помогает. Я как
раз в таком институте работаю.

- И как вы нас отключаете?

- Волевым усилием. Еге, правда, трудно регулировать. Не-
увязки разные получаются. Это сравнительно новая область,
моя начальница еще над этим мучилась, а я ей помогала, в
самом начале еще... Талантливая она женщина, странная толь-
ко очень. И злая. И прет много. Я в нее влюблена была.

- Вот всю свою жизнь я был ярым противником этой бабекой
эмансипации. Теперь-то вижу- не зря. Мало мы с вами боролись.
На корню надо было душить эту эмансипацию. Общество, видишь
ли, новое они устроили, без мужчин. Взвоете скоро. Баба из
ребра нашего создана была, а вы из под себя грудную клетку
рубите! Дуры!

- Уж какое ни на есть, общество, зато без войн, разврата
и мерзостей разных. Мы все решаем полюбовно.

- Ну, насчет разврата и мерзостей не надо. Уверен, что
этого-то у вас выше головы. Бабы же страшно стержозный и
мелочный народ. И развратный тоже. Сама говорила, что с жен-
щиной любовью занималась. Или у вас это развратом не счита-
ется?

- Любила я ее, и не было в этом ничего развратного.

- Это, может, ты, дурочка восторженная. А я уверен, что у
большинства ваших теток любовь отнюдь не платоническая. Вот
мы вчера с тобой двоих видели. Ты уж не уверяй меня, что они
просто дружат.

- Может быть, и не только. Но все равно, суть этих отно-
шений - любовь и нежность. А в этом, на мой взгляд, без-
нравственного ничего нет.

- Ладно, бог с тобой. А как вы технику развиваете? У вас
и голов-то на плечах нет. Или за вас мужья думают?

- Знаешь, иногда и так. Одно время с этим страшно боро-
лись. Даже движение было против подрыва основ нашего об-
щества мужским вульгарным рационализмом.

- Как ты сказала? Мужским вульгарным рационализмом? Что

это значит, ты понимаешь хоть?

- Не буду я тебе больше ничего объяснять, а то мы совсем разругаемся и исторгать тебя придется, а мне пока не хочется.

- Ладно, принцесса, не обижайся, это у меня только язык грубый, а сердцем я знаю, какой нежный и любящий! Выпустишь - увидишь.

- Опять начинаешь? Выключу тебя, как прошлой ночью!

- А не соскучишься?

- Не знаю. Я к тебе, кажется, привыкать начинаю. Сперва вообще была не в своей тарелке. А сейчас - ничего. Наверное, хорошо, что я выбрала именно тебя.

- Прекрасно. Подойди-ка к зеркалу, чтобы я на тебя посмотрел.

- Ну как? Удовлетворен?

- Нет. Вот если сейчас выпустишь, то к утру, может быть и буду удовлетворен. И то сомневаюсь.

- Ну вот, опять. Ты ведешь себя как самый последний мужчина на христоматии, неужто не стыдно?

- От зеркала только не отходи. Я на тебя насмотреться хочу.

- А как ты считаешь, я красивая?

- Да ничего, вполне, очень даже милая. Вот если бы платье сняла, я бы сказал точнее.

- Врешь ты, неудобно.

- А ты выпусти меня, я помогу. Мне показалось, что у тебя правая грудь больше левой.

- Ничего подобного.

- Да ты не заметила. Давай проверим.

- Спокойной ночи, и если помешаешь мне спать - выключу.

- Садистка ты, как я погляжу. В одном теле с очаровательной девушкой - и спокойная ночь! Я ведь тебя любить уже начал, как плоть свою. Мучаюсь я, понимаешь? А еще о человечности что-то толковала в вашем Свободном и Самом Гуманном Женском Обществе.

- Чудак. Это же передовицы, так не говорит теперь никто.

- Матушка, а ты ведь еще ни с кем, небось, не целовалась?

- Почему? Целовалась. С начальницей Катериной. Я в нее влюблена была.

- И как? В щечку?

- Ну что ты, она же женщина взрослая.

- Нет, как я погляжу, у вас тут сплошной разврат. Подчиненных соблазняют. А как кончилась ваша любовь? Она тебя бросила?

- Просто одно время я была ей нужна. Для вдохновения, что ли? Я тогда только к ним пришла, молоденькая совсем, работа мне очень нравилась. И была вся такая очарованная. А у нее были неприятности.

- А неприятности кончились, и она полюбила кого-нибудь другого?

- Нет, не так. Устала она от меня. Я ведь почти помещалась тогда на любви к ней. Этим только и жила. Ревновала ее ко всем подряд... Не надо об этом! Я тогда едва в себя пришла. Умереть, помню, хотела... А у тебя была жена?

- Была. Целых две. Чуть третья не появилась. Практически появилась, только я с ней не расписывался.

- А любовница?

- Ой, много! На этом-то я и погорел. Я ведь не застал этой вашей женской революции, меня раньше законсервировали, как подопытного кролика, что ли. Вторая жена постаралась. Ревнивая была до ужаса. Вообще-то, баба хорошая, но со сдвигами. А я как пойду в бар с приятелем, загудим с ним - и по бабам.

- Что ты ее не любил, что ли?

- Ну как... Она - фанатик, понимаешь, вся в сына выкладывалась, а к вечеру - труп. Я на ней из-за этого ребенка и женился. Сына очень полюбил, а она чуть что - Алешку спрячет, - не увидишь, мол, больше. А сама все меня выслеживала и скандалы закатывала. Зуткая женщина! Любила меня, как одержимая. А что она мне говорила: "Когда ты умрешь, я буду к тебе на могилу ходить, траву гладить и думать, что это твой нальци." То убить меня хотела, то для человечества сохранить. Вот, наверное, и сговорилась с этим вашим доктором Вессмертновим, ты мне еще его памят-

ник показывала. Он был врачом-психиатром, гиннозом владе-
дел, а в Соньку мою с детства влюблен был, за одной пар-
той сидел. Привела она меня к нему в гости, и решил этот
доктор меня загинозировать. Для пробы. Вот и все, боль-
ше ничего не помню. А вообще, вот это женщина! Одним ма-
хом меня в будущее зашвырнула! Знала бы, что меня здесь
в мужья возьмут, в гробу бы перевернулась. Хотя не она,
это Бессмертнов постарался. Очень он на меня залился за то,
что такую прекрасную женщину мучаю. А она хотела мне под
гинозом внушить, чтобы не шлялся. Да ну ее! Сыншник вот
хороший был, беленький такой, голубоглазенький, веселень-
кий, как колокольчик. И собирался крепко. Мужик. Сонька
все думала, что из него личность великая вылунится. А я
ей внушал, неужто не видно, бандугой растет, в меня. Она
залилась, чувства ямора у нее не было. Первая вот жена хо-
рошая была, веселая такая, на гитаре играла. И развелись-
то мы с ней для префермы, ей надо было где-то прописаться,
а тут у Соньки Алешка подрастать в пузе начал, а она де-
лать ничего не хочет. "Мна,- говорит,- ничего от тебя не
нужно, я только хочу от тебя ребенка." Мы с ней в одной
системе работали, тетки шентаться начали, ну, я и женился.
Первая жена все изулилась, никогда, говорит, не думала,
что мы с тобой всерьез разойтись сможем, а тут - на тебе.
Очень она мне нравилась, пухленькая такая, толстенная,
как карасик. Вторая-то - тощая, как смерть, особенно как
Алешку родила, все надыхаться на него не могла. Фанати-
чная мать. А как поняла, что я к сыну привязался, власть
свою почувствовала, и тут началось. Помню, на вечеринке
одной сажая жену Дрянкина в такси, грустная она была, "по-
целуй меня"- говорит, я поцеловал, такси уехало, а / тут
Сонька откуда ни возьмись. "И так и знала",- кричит. Хи-
лая баба, в чем цуна держится, а свалила меня на снег и-
сапогом в лицо. / меня шапка слетела, а она все бьет и
бьет - с радостью такой. "Алешку,- кричит,- больше не ув-
дешь." И сразу оккупацию вспомнил, я ведь мальчонкой под
немцами жил. Так немец меня раз тоже сапогом двинул, с ме-
ня шапка свалилась, а он как увидел, что волосы у меня бе-
ленькие, и бить перестал. А эта... Истричка. Ребенка за-
брала, и к матери уехала.

- А ты как?

- Ничего, выжил. Девушку потом встретил. Пораньше бы года на два... Ты мне чем-то ее напоминаешь.

- Какая у вас жизнь странная! Я такого даже представить себе не могу. А ведь интересная.

- Конечно, интересная. А какой детектив начался, когда я в ту девушку влюбился! Жена следила за мной получше частного сыщика. Совсем с ума сошла. Сына даже забросила.

- "С кем угодно, только не с ней!" Бутылку мне об голову разбила, ее отравить хотела, меня прирезать. Чего только не было! И ты свою начальницу тоже так ревновала?

- Ну что ты! У нас совсем-совсем не такая жизнь. Это у вас там кипят страсти. А тут все как будто замерло, безжизненно как-то. А ведь много хорошего, и с работой, и летать можем, и мужа выбрать... Девать только себя некуда. Это раньше с мужчинами боролись, консервировали, новую жизнь строили, врагов внутренних уничтожали. А теперь и жизнь наладили, и врагов повывели, живи, вроде, и радуйся, а все не то. Многих это устраивает, ничего им больше не нужно. А я никак установиться не могу.

- А-а. У нас тоже не сахар.

- А я бы хотела у вас пожить. И быть любовницей жена-того мужчины.

- Уверен, что тебе бы это быстро надоело. Забавно, вообще... Хотя что ж, всегда хочется, чего нельзя... Ты меня выпускать-то будешь?

- Давай завтра. И к тебе еще не совсем привыкла. Ты Расскажи еще про вашу жизнь, мне интересно очень.

-Ночь уже. А ты со мной завтра полетаешь?

- Полетаю, завтра у меня, наверное, получится.

- А сейчас что, не получается?

- Ну да, мне надо к тебе привыкнуть. А так у меня душевный разлад - вот и не выходит. Спи.

- Спию.

Глава вторая

СОН АРКАДИЯ

Солнечным весенним днем Аркадий шел по Невскому, и ду-

нии на его была безоблачна, как небо. Жизнь вокруг звенела шумно и празднично, снег, сброшенный с крыши, был пористым, серебряным, прекрасным. На ногах Аркадия блестели ботинки — подарок Надежды, и он не боялся их промочить, так как шел не по мостовой, а чуть выше, по воздуху. Вообще-то он мог летать гораздо выше и даже не двигать ногами: вещь Любовь научила его летать, но он предпочитал не мокривать прохожих и исправно шагал, делая вид, что ходит, как все. А сознание того, что идет он все-таки не как все и при желании может унорхнуть, как иташка, вселило в него душу совершенно детский восторг.

Его лавинно-пролетный диод заработал сегодня как положено, в пивбаре на Владимирском ядал Дряньюкин с какой-то потрясающей рыбой и новой любовной историей, если только он правильно понял прозрачный намек по телефону: /"Аркадий, дело — дрянь, яду с рыбой."/ Через час туда должна была пойти Надежда. Аркадий представил ее лицо, и сердце его заняло от наслаждения. "Надежда ты моя! Цветочек над омутом", — прошептал он, как всегда шептал ей в особо любовные моменты. На Анничковом мосту, даже не глядя на скульптуру, он твердо знал, что сейчас запросто укротил бы всех четырех коней. Взглянув на афишу у кинотеатра "Титан" — "Старая дева", понял, что мог бы осчастливить всех старых дев на земном шаре, а когда повернул направо, на Владимирский, у него так забило сердце от счастья, что он остановился посреди лужи и погрузился в нее. фирменные ботинки мгновенно промокли и, выйдя из задумчивости, Аркадий неловко выпрыгнул из лужи, забрызгав светлое пальто модной молодящейся дамы лет сорока и, поймав ее отчаянный взгляд, понял, что дальше все будет плохо.

Носовым платком он попытался стереть брызги с пальто, но чем больше он тер, тем пальто становилось светлее, а брызги — темнее. Он тер очень старательно, размазывал грязь по подолу, и когда мелкие черные пятнышки начали превращаться в большое серое пятно, рядом с модными сапогами молодящейся дамы он увидел еще одну пару сапог, поношенных, замшевых, коричневых, до ужаса знакомых. — "Вот ведьма!" — подумал он. Ему не надо было поднимать голову,

чтобы понять, чьи это сапоги, он прекрасно знал, чьи, и чтобы собраться с мыслями и наметить план действий, продолжал тереть это несчастное пальто. Действовать он мог только одним образом: удирать. Куда? — сзади витрина с молочными бутылками, слева — лужа, на которой кончилось его счастье, перед ним — побелевшая от расстройства дама, и справа — она, Софья. По тому, как стояли ее сапоги, Аркадий понял, что так просто от нее не отделается. От своего полного бессилия он разозлился и выпрямился так резко, что обе женщины и даже лужа шарахнулись от него, а он, почувствовав душевный подъем от злости и резкого движения, гордо прошел мимо них на мостовую, не замечая Соинных глаз, из которых медленно начала испаряться радость — ага — попался.

Он легко перелетел через трамвай, с нетерпением ждущий зеленого света, сел в него и медленно двинулся через Невский прочь от пивбара, глядя на женщин, стоящих по команде "закры".

— Наде как-то стряхнуть с себя все это, — подумал Аркадий, решил, что выйдет на следующей остановке и, плюнув на все приличия, полетит в пивбар, влетит прямо в форточку, плюхнется за стол, нальет себе из бутылки стакан Невского пива, выпьет, вытрет рот салфеточкой, похует спинку рыбки и скажет: — "А вот и я!" При этом он просиял, сделал решительный жест рукой, стряхнул грязь с носового платка прямо в увеселительный том "Лана Кристофа," который поглощала вместе с ногтями сидящая девушка, послал даму и ее светлое пальто ко всем чертям, решил не извиняться, чтобы не отрывать девушку от книги, но вдруг, узнав в девушке Надежду, издал душераздирающий вопль, схватил ее вместе с "Ланом Кристофом" в охапку, поднял на руки, свалился с ними на сиденье и, уткнувшись носом в ее ушанку, стал долго и громко говорить о том, как он ее любит, какая она у него единственная Надежда, цветочек над омлетом, и как они сейчас полетят в пивбар к Дряньюкину и будут пить прекрасное Невское пиво и есть изумительную конченую скумбрию и как полетят потом к нему домой, влетят в окошко на пятый этаж и он ее будет любить как никогда в жизни еще не любил, как

можно любить только раз в жизни. Он закроет дверь, и никакая Сонька не сможет им помешать, потому что Любовь научила его летать и он будет возить свою Надежду по воздуху на работу и ей больше не придется ездить в трамвае и прощивать остановку...

При слове "Сонька" Аркадий привычно оглядел трамвайную публику и хотя знал, что здесь ее быть не может, не очень удивился, увидев полуобморочное лицо в пяти метрах от них. "Вот ведьма!" - опять подумал он и тихо шепнул Надежде, что надо быстро и осторожно подойти к передней двери, а главное, не шуметь, потому что здесь - Соня.

Они быстро и тихо прошли вперед, Аркадий держал Надежду за рукав и безнадежно смотрел на бесстыдно-красивые фонари Литейного моста и сосульки, розовеющие от заходящего солнца. Мост тянулся долго-долго. В трамвае было тихо-тихо. "Почему я не слышу своего сердца?" - подумал Аркадий. - Ах, да оно в пятке." Леденящий душу голос сзади произнес: - "А что это вы притихли? Ты что, сказал ей, что я здесь?" А Надежда очень глупо ответила не оборачиваясь: - "Нет, совсем нет."

Потом дверь открылась. Пиннок - из трамвая выпрыгнула Надежда с "Ланом Кристофом" в обнимку. Еще пиннок - вылетел, с подножки Аркадий, больно ударился локтем о "Лана Кристофа", заскользил, и когда обрел равновесие, Соня уже здоровалась с Надеждой, а Надежда говорила:

- Давай, Соня, будем все время здороваться, а то каждый день видимся и не здороваемся, это ужасно.

- Давай,- туло согласилась Соня.

- И вообще, давай покурим,- предложила Надежда, доставая из сумки "Опал".

- Спасибо, у меня есть,- сказала Соня и достала "Столичные".

- Уж больно все глупо,- сказала Надежда, чиркнув спичкой.

Соня, прикуривая от протянутой спички, сказала: "Спасибо".

Они затянулись и выпустили в багровеющее небо по столбику дыма. Остолбеневший Аркадий сел на столбик дыма Надеж-

ды и, сидя на нем, взлетел. Он хотел во что бы то ни стало понасть в пивбар в Дрянкину. Больше желаний у него не осталось.

Он летел по темному небу довольно долго и никак не мог среди множества огней, толпящихся внизу, найти тот, желанный, где ждет его Дрянки с дюжиной Невского пива, прекрасной копченой скумбрией и новой любовной историей. Он понял, что его занесло куда-то на Выборгскую, резко повернул и столкнулся нос в носу с Сонькой, летевшей за ним верхом на сумке. Она с налета вцепилась ему в волосы. "Вот ведьма!" — в который раз за сегодня подумал Аркадий и, осознав, что больше сопротивляться не может, покорно последовал туда, куда она тащила его за волосы. Внизу медленно пролетала Надежда с ⁽¹⁾маном Кристофом "подмышкой". Толстый том мешал ей лететь быстро, высоко, а бросить она его не могла, так как еще не почитала.

— Вот посмотри на Алешку и все равно смеясь, — подумал Аркадий, с ненавистью взглянул на Соню и спросил мелочным голосом:

— А куда ты дела рубль, который я забыл у тебя на столе неделю назад?

Алешка сломал лошадь и ревел. Аркадий в темпе чинил ее, рассказывая сочиненную наспех сказку /смесь Сивки-Бурки с Коньком-горбунком/, и подражал время от времени Алешкиному вою. Алешка засмеялся, лег в постель без пререканий, внимательно выслушал, как Конек-горбунок сломал ногу и не смог допрыгнуть до окошка высокого-превысокого терема, где сидела принцесса Надежда и лежало красное-прекрасное яблоко, потребовал яблоко и, не дождавшись, пока Соня его вымоет, заснул.

Аркадий поцеловал сына и вздохнул, слушая упрямый шум воды в ванной, где стирала Соня.

— Она специально открыла дверь ванной, чтобы схватить меня, если я вздумаю удрать, — спокойно пронеслось у него в голове. Он злорадно усмехнулся, протиснулся в форточку и на первой космической понесся к пивбару "Ягули", вле-

тел в окошко, плюхнулся на стул между заплаканной Надеждой и озабоченным Дрянькиным, залпом осушил стакан Лигулевского пива, пососал объединенный хребет от вобли, вдохнул и сказал, вытирая рот рукой:

- Все-таки домчался.

Надежда грустно улыбалась и ронила слезы то в стакан с пивом, то на обложку Мана Кристофа. Дрянькин внимательно изучил лоб Аркадия и сказал:

- Да-а, цело- дрянь. Икс - вышел, игрек - вышел, а третью букву она не донесала, - и подал Аркадию зеркало.

Аркадий взглянул на блестящую работу Соинных ногтей, с ужасом подумал, как он завтра в таком виде явится на работу и устало вдохнул: "Вот ведьма!"

Они пили пиво, Дрянькин предложил Аркадию послать фотографию своего лба в Литературную газету с надписью: "Что хотела этим сказать моя жена?" Надежда нервно смеялась. Дрянькин, вдруг подскочив на стуле, кинулся обнимать только что вошедшего подвыпившего интеллигента: "Жоля! Какими ветром?!" На его месте появился неизвестно откуда взявшийся алкаш. Бкая, он долго и пристально рассматривал Надежду и, с трудом ворочая языком, провещал:

- Ка-эк-кая эк-ми-к-лая девушка. Эк-то не девушка, а ангел. Она тебе жена? - и повернулся к Аркадию.

Аркадий, секунду поколебавшись, с жаром воскликнул:

- Да! Жена!

Надежда снова вскрикнула. Лицо ее скривилось, подбородок мелко задрожал. Она опустила голову и, помолчав, презанесла грустно, но удивительно четко:

- Нет, я его бывшая любовница.

Что-то острее кольнуло Аркадия в сердце, он мгновенно проснулся, открыл глаза и, увидев, что темно, начал мучительно соображать, где он ночует, у Соинки, у Дрянькина, или дома, и если дома, то один или с Надеждой. Он попытался протянуть руку и не смог.

- Надо же так напиться! - подумал он, и вдруг все вспомнил и вдохнул с облегчением:

- Слава богу, приснилось.

Глава третья

СОН ЛЮБЫ

К воспитательнице Марье Неумывающей приехала ее давно умершая мать. Помолодевшая Марья весело хлопотала по хозяйству, а Люба восхищенно бродила вокруг них без дела, глядя то на смеющуюся по-детски Марью, то на улыбку молодой женщины, портрет которой когда-то висел у них на стене. Ее не поражало, что Марьиная мать ни с того ни с сего явилась с того света. Она смотрела на это как на счастливое стечение обстоятельств, была рада, что присутствует при этом и расхаживала из стороны в сторону, приобщаясь к их счастью и ожидая, что будет дальше.

Марья выбежала в магазин за пирогами, а приветливая улыбка ее матери внезапно застыла, оскалилась. Люба тупо осознала, что она опять умерла, потом, потом помогала двигать гроб, держала над головой вновь умершей женщины неизвестно зачем какой-то веночек и отвлеченно думала о том, почему так недолговечно счастье и как же сказать об этом Марье. Гроб увезли, и появилась Марья. Она знала, что случилось, но оживленность и радушность так и не сошли с ее веснушчатого лица.

- Как же это так? Только-только приехала и - умерла, - только и смогла вымолвить Люба.

- Ничего, ей не впервой, - весело отмахнулась Марья, не унывая по своему обыкновению, взяла свою любимую сумку и отправилась по магазинам.

Люба, мрачно задумавшись, бродила из комнаты в комнату. Было утро. Ее родная сестра-ровестница Танька-Встанька крепко спала. В другой комнате на огромном диване почивала сводная сестра Любы и Тани - Лена Тряпичница, Марьиная 16-летняя дочь. Проходя мимо нее, Люба заметила, что обычно кудрявые волосы Лены вдруг выпрямились, а спящее лицо чем-то напоминает лицо только что умершей. Остро предчувствуя что-то нехорошее, Люба склонилась над ней и увидела, что лицо Лены только тем и похоже на лицо ее бабушки, что так же бесповоротно мертво. Люба шаркнулась от дивана,

ужас вдавил ее лоб в ладони.

- Господи, господи, господи,- шептала она, стараясь оправиться. Холод смерти перешел из Лены к ней в живот, голову, руки, ноги, наполнил ее все. Только мизерный кусочек сердца еще трепыхался, пытаясь справиться с этим острым холодом, и не мог. Тогда заработал мозг, и первой мыслью было, что лучше бы она тоже умерла, а то придется втыкать в себя эту смерть еще и еще, и она не выдержит.

- Надо придумать, что делать. Но что? Что можно тут сделать? Что?

- Скорую? - Зачем? - Она же мертва. милицию? - Глупость. - Все никто не убивал. Что делали, когда умерла Марьяна мать? - Не помню... Господи, сейчас придет Марья! Господи!

Люба вдруг отчетливо представила, как ужас наполняет живые черты Марьяного лица, и ей стало еще страшнее.

- Все что угодно, только не это. Что-то надо сделать, чтобы этого не было... А может, показалось?

Люба опрометью бросилась к дивану, взглянула в безнадежно мертвое, посиневшее лицо Лены и на ползающую по ее носу муху и, тихо застонав, опустилась на корточки, зажав голову между колен и стиснув их руками так, что в висках что-то треснуло.

- Господи, как жутко. Может, разбудить Таньку? Не одной же все это нести.

Но вообразив, как резко, с каким ужасом вскоочет Таня и какие у нее будут глаза, Люба отказалась от этой мысли и продолжала лихорадочно мучаться, не зная, что делать. Больше всего ее пугало то, что сейчас может войти Марья, увидит свою мертвую дочь и...

- Надо ее куда-нибудь увести. Пусть только Марья не видит. Нельзя ей так сразу. Она умрет или свихнется. Я тоже свихнусь, если буду все время так сидеть.

Люба подошла к телефону, набрала "Скорую", но когда услышала чуть взволнованный девичий голос: "Скорая... Скорая помощь слушает...", не смогла вымолвить ни слова. Она подумала, что если скажет, что Лена умерла, то ничего уже нельзя будет изменить. А пока... может, что-нибудь можно придумать?

- Лен, ты пирожного хочешь? - решительно тряхнула ее за плечо. - Вставай! - и отшатнулась, обожженная этим холодным плечом. Она отошла к окну, прижавшись лбом к стеклу, стала смотреть на улицу. Как обычно, мимо пропархивали девушки в светлых платьях. Над крышами одухотворенно парила нагая Любовь начальница Катерина с распущенными черными волосами. Длинные эти волосы то неслись за ней вслед, как нечто ей совсем не принадлежащее, то нежно ослетали ее точное тело и ласкали отрешенно-блаженное лицо.

- Опять кого-то любит, - подумала Люба без обычной горечи. - Ну и пускай. А мне надо что-нибудь сделать с Леной.

С усилием оттолкнувшись от стекла, Люба тихо и решительно прошла мимо Лени, подошла к кровати Таньки-Ветаньки и положила ей руку на плечо. Всегда резкая и порывистая Таня не сбросила ее руку с плеча, не натянула себе на нос одеяла и не послала ее невнятно к чертовой матери, как делала обычно, а быстро поднялась, моментально догадавшись, что случилось что-то о ч е н ь с т р а ш н о е. Тихим, спокойным, ровным голосом, каким Люба когда-то предупреждала сестру, что в полуметре от нее лежит змея, она произнесла:

- Таня, ты только не пугайся, - и когда поняла, что Таня будет спокойна, продолжала:

- Понимаешь, с Леной что-то, она... как будто мертвая.

- Пойдем, посмотрим, - напряженно сказала Таня.

- Я уже смотрела.

- Все равно пойдем, может что-то не то.

- Сходи сама.

- Нет, пойдем вместе.

- Они подошли к дивану. Люба смотрела в сторону.

- Да ты что!!! - вдруг громко вскричала Таня.

Люба дернулась от ее вскрика, взглянула на диван, увидела, что там что-то шевелится и обмерла.

- Тебе показалось, смотри, она живая, - уговаривала ее Таня, и Люба разглядела, что на подушке лежит голова живой Лени, но не 16-летней, а маленькой, какой она была в 3-4 года. Таня громко отдувалась от страха.

♀ Оу, напугала, ужас какой. Иди ты, Люба, к черту со своими кошмарами. И спать хочу.

Она пошла обратно в свою комнату и рухнула на постель.

Пораженная Люба уставилась на маленькую Лену. Ленка глядела на нее нагими глазами и ухмылялась, как бы довольная своей шуткой.

- Сколько тебе лет? - глупо спросила Люба.

- Три, а что? - явно надеваясь над ее страхом, ответила Лена.

- Ты есть хочешь?

- Хочу. Манной кашки.

Люба пошла на кухню, мучительно вспоминая, как надо варить эту кашу. Она боялась, что вот-вот войдет Марья, а у нее вместо 16-тилетней дочери - трехлетняя.

- Бедная Мария! Растила ее, растила - и опять сначала.

Сварив кашу, Люба вошла в комнату и увидела, что Лена подросла. Головка у нее была уже не бритая, а покрылась светлыми кудряшками, какие у Лены были лет в пять. Она сидела на стуле и самозабвенно листала взятую со стеллажа книгу, время от времени от чрезмерного старания вырывая из нее листы.

- А теперь тебе сколько лет? - обреченно спросила Люба.

Весело рассмеявшись, Лена ответила: "Пять".

Люба устало села на диван, намериваясь понаблюдать, как будет расти Ленка. Но та, хитро посмеиваясь, недвусмысленно намекала, что при ней расти не будет.

- Ну, как хочешь, - Люба отобрала у нее книгу и пошла на кухню. Она решила не выходить оттуда, пока не дорастит Лену до положенных 16-ти лет. Только разочек не удержалась и приоткрыла дверь. 8-летняя Лена вертелась перед зеркалом в Марьиных туфлях и платье. Она обернулась на Любу и недовольно зашипела, а Люба вспомнила, что как раз в этом возрасте Ленка начала становиться противной и пожалела о том, что придется ее выращивать точно такой, как была, решила, что лучше бы, конечно, остановить ее на семи годах и начать воспитывать заново, по-другому... Она надолго задумалась, вдруг вспомнила о Ленке и с чувством чего-то непоправимого рванулась в комнату. Темноволосая девушка расчесывалась, сидя перед зеркалом. Только по ее недовольной гримасе Люба узнала Лену.

- Перерастила! - отчаялась она и сурово спросила:

- А теперь тебе сколько лет?
- Семнадцать, а что? - презрительно ответила Лена.
- А волосы почему темные?
- Уж и покрасить нельзя?

В дверях стояла полуодетая высоченная Танька со спицами в руках и увлеченно показывала Лене какую-то вязку. Она была явно недовольна тем, что Люба какой-то ерундой отвлекает внимание ее сводной сестры.

- Да брось ты, Люб. Очень хорошо, посмотри, ей же идет.
- Люба отмахнулась
- Расти еще будешь?
 - Да хватит уж. Куда больше?
 - Ну ладно, пусть Марья приходит и сама с тобой разбирается.

Люба решила, что 17 лет вместо 16-ти лучше, чем 5,3 или... О том, что Лена была мертвой, она решила больше не вспоминать и пошла гулять. Она возбужденно шла по улице, в голове ее был полный хаос, а сердце тихо и несмело радовалось, что все кончилось хорошо. Она хотела поноситься по воздуху, чтобы проветрить мозги, но вдруг ее внимание привлек младенец в ярко-оранжевом, почти золотом одеяле, лежащий неизвестно почему на подоконнике первого этажа. Одеяло было блестящим и так приятно золотилось на солнце, что Люба глаз не могла от него оторвать.

- Младенец тоже должен быть золотым, - отчего-то решила она, - но чей он?

За углом послышалось шарканье ног и Люба сгорченно подумала, что ребенка сейчас заберут, но в тот момент, когда появилась полная женщина с кошелкой, младенец вдруг исчез вместе с одеялом. Люба остолбенела. Женщина, как ни в чем ни бывало, проществовала мимо и когда она исчезла с Любных глаз, младенец опять появился на подоконнике. Это становилось интересным, и у Любы возникло подозрение, что ребенок этот волшебный и приготовлен специально для нее, Любы.

- Проверю еще раз и возьму, - решила она.

Когда появилась следующая прохожая, ребенок мгновенно испарился. Прошло еще несколько человек. Они шли ужасно

медленно и появлялись один за другим. Люба стала терять терпение, но вот женщины прошли, новые не появлялись, и младенец вновь засиял у окошка. Люба подошла к окну, поднялась на цыпочки и уже стала брать ребенка на руки, как вдруг почувствовала в руках пустоту, и младенец опять пропал. Она мгновенно отступила и обернулась. Перед ней стояла незнакомая женщина с резкими чертами лица и смотрела на нее пронзительными, все знающими глазами.

- Ты что здесь делаешь? - подозрительно спросила она хриплым голосом.

- Да так, ничего, - замялась Люба.

В глазах женщины промелькнула ирония и, чуть улыбнувшись, она понимающе спросила:

- Что, чудеса творятся?

- Ага, - прошептала Люба.

- А знаешь, почему?

- Почему??

- Потому что Мулатка Катерина все-таки добилась переселения мужчин из одной женщины в другую.

- Да что вы говорите? Она же этим никогда не занималась

- Точно.

Люба навизгнула от радости и понеслась на работу. Она летела в восторге от того, как сумасшедше прекрасна жизнь, и вдруг резко, от толчка проснулась. Ее разбудил Аркадий.

- Люба, летать-то пойдем?

Глава четвертая

Зал был переполнен, и воздух в нем был спертый, плотным и давил на каждую клеточку Любных и без того задавленных мозгов. И все женщины в этом зале излучали явное недоброежелательство к ней, к Любе и это тоже давило. Люба стояла у председательского стола. Губы ее дрожали и, боясь, что так же задрожит голос, если она начнет говорить, Люба не разжимала губ и не отвечала на заключительные вопросы председателя. Она смотрела то на часы, то в окошко. Только бы не разреветься. На Катерину Люба не смотрела.

- Скажете вы, что-нибудь, Кашеева?.. Ну, как хотите. Итак, повторяю, мы ожидали от вас многого. Вы себя зарекомендовали, как девушка не без способностей. Вами два года руководила Катерина Мулатка, а она - прекрасный руководитель. Вы находились в самых тепличных условиях, от вас никогда не требовали срочной работы, так как считали человеком, способным к творчеству. Но, как выяснилось, за предложенную вам тему вы фактически не принимались. Здесь есть, конечно, вина вашего руководителя. Катерина вам безгранично доверяла, как человеку толковому и обязательному. А вы, которая, казалось, души в своем руководителе не чаяли, не просто подвели ее, а предали, именно предали. Вы не только завалили свою тему, но и пытались сорвать выполнение темы Катерины, часть которой вам была поручена, путем фальсификации исходных условий. Вы нарушили нравственный кодекс нашего общества, по закону вас надо судить, понимаете? Вас и судили бы, если бы не великодушие вашей руководительницы. На этот раз под суд мы вас не отдаем, но разрешить вам обзавестись семьей мы не имеем права. Это высокая честь, а вы... Вы сами должны понимать.

Из зала Лрба кое-как вышла, но тут же опустилась на стул. Было мерзко. Заседание продолжалось, свет в приемной не горел, и в ней было так темно, что Лрба не сразу заметила сидящую напротив Веру Зануду.

- Ты только не вздумай что-нибудь с собой сделать, - обычно-ровным голосом сказала Вера, - пустое все. Пройдет. Жизнь все равно прекрасна. Каким бы боком не повернулась. Ты просто пошла под колесо.

- Но я ничего не фальсифицировала! Просто на заключительной стадии я обнаружила, что исходила из неверных посылок. Причем раньше заметить этого было нельзя. Там же принципиально все неверно! Эксперимент можно объяснить как угодно и выбрать, какой подходит. А та тема на меня была записана условно, для проформы, Катерина хотела как-нибудь от нее оторыкнуться. Правда, она недавно заикалась с ней, но я решила, что она шутит. Мы же совсем другим занимались.

- Да я-то в тебе ни на секунду не усомнилась.

- Самое скверное, что я действительно последнее время совершенно не могла работать, у меня из рук все валялось, а тут оказалось, что все опять надо сначала... Вы думаете, Катерина в самом деле считает, что я виновата?

- Конечно, считает. Во-первых, истина ее мало интересует, а работу надо было срочно сдавать. Ты же ей мешала. И потом, ты ходила, как в зону опущенная от несчастной любви к ней. Все это, естественно, раздражало. Она ведь сама так не может.

- А вы поняли, что...

- Трудно было не догадаться. На тебе все написано. Все было совсем прозрачно... Что ж, Катерина - женщина яркая, интересная. Ясно, что ты увлеклась.

- Все-таки у меня в голову не вмещается, как она так могла.

- Тебе еще много неприятных вещей предстоит вместить в свою голову. А у нее это не в первый раз. Знаешь, почему я в опале?

- Из-за нее? Вы ее тоже любили?

- Нет, совсем не это. Учились мы с ней, с детства дружили...

- Ну, да Бог с ней! Не горюй. Ничем ты не виновата. Просто так устроена.

- Но у меня все так получается, понимаете, все. Все время что-нибудь не так. Меня ведь в третий раз проваливают. Всем дают разрешение на брак, всем. 21 год стукнет - и пожалуйста. А мне уже 24. Я сперва думала, что я чем-то хуже. А ведь, вроде не хуже... Почему все так?

- Да лучше ты их всех. И поэтому. Понимаешь, ты - настоящая, а волнует тебя все по-настоящему, работа волнует ради нее самой, а не ради престижа. А они - не такие. И никогда тебе этого не простят. И с Катериной поэтому не получилось. И не могло получиться.

- Вы мне объясните, пожалуйста...

- Потом, время будет. Работать ты будешь теперь, наверное, у меня... Все будет нормально. И муж у тебя будет... Не плачь, брось, не стоит того. Скоро будет, обещаю. Че-

рез полгода. Ели домой спать, поздно уже.

Она похлопала Любу по плечу и, обняв, вывела на улицу.

- Вон и звезды, смотри, Люба, и луна светит, ведь все прекрасно!

Люба с изумлением посмотрела на профиль Веры, ставший вдруг ясным и совсем девичьим. Такой она Веру никогда не видела. Никто в институте не слышал от нее больше двух слов, не относящихся к работе. Всегда деловитая, величественная и сурово крупная Вера из года в год занималась одной и той же будничной и не слишком интересной работой — обслуживала чужие эксперименты. Своих она не ставила, не смотря на четкий ум и глубокие знания. О ее личной жизни никто ничего не знал, хотя она проработала у них около 15-ти лет. Обходилась она всегда минимальным количеством слов, была сумрачной, сухой и убийственно спокойной. Ее все сторонились и звали Занудой.

А сейчас Зануда с улыбкой десятиклассницы читала Любе стихи о звезде, и голос ее был взволнован и нежен. Она вдруг загнулась, застеснялась, улыбнулась смущенной улыбкой, которая потрясла Любу своей детскостью, и, поймав Любин ободряющий взгляд, по молодому тряхнув кудрявой головой, заключила:

Не потому, что от нее светло,

А потому, что с ней не надо света.

Вера опять смутилась, махнула Любе на прощанье рукой и пошла в свою сторону. Люба, не двигаясь, очарованно смотрела ей вслед. Не дойдя до угла, Вера обернулась, весело помахала, жестом показала, как должна держать Люба свой нос, и повернула за угол.

Люба еще стояла, глядя на пом, за которым исчезла Вера. У нее было чувство, что жизнь только что показала ей самое красивое и важное, что в ней есть. И медленно двинулась домой, думая о Вере.

Глава пятая

Дома ее встретила активно переживавшая за нее Танька-Ветанька. На ее бурное "Ну как?", Люба, сияя, сообщила, что жизнь прекрасна.

- Когда мужа выбирать будешь, завтра? Я тебе сейчас подробно объясню, где и как искать. Я-то дура была, не того выбрала. Значит так, войдешь- прямо будет коридор с ячеечками. Там не лавай, там все барахло: трусы, которые техорились, когда мужчины уже не осталось. Они под женщины поддельвались, ну поминишь, проходили?

- Проходить-то проходили, только вот я не буду завтра там проходить. Не дали мне разрешения, Тань.

- Опять не дали? Что они, с ума сошли?

В, выслушав ее, схватилась за голову:

- Бедная, бедная моя Любовь. Кошмар какой!... А жизнь почему тогда прекрасна?

- Эх, Танька, не в мужьях счастье!

Любе не спалось. Едва она легла, перед глазами появилась Катерина, скромно объясняющая директорше, что Люба мешала ей работать.

- Я же ей всю тему вытаскала! - запоздало возмутилась Люба, встала, включила свет и ужаснулась: такого количества клепов, как сейчас над кроватью, она никогда не видела.

- Вот сволоочи, узнали, что у человека неприятность, и напоязли, тут как тут. - Она цавила их, пальцем размазывая по обоям и считала. А с потолка ползали все новье.

- Двадцать один, двадцать два, - методично считала Люба, а Танька сидела на кровати, с интересом наблюдала за этой кровавой процедурой. На 27-ом клепе ей надоело смотреть.

- Да брось ты, Луб, всех не перецавишь. А знаешь, ты ведь по большому счету счастливая. Ты выстрадать должна свое счастье. Вот увидишь, у тебя будет что-нибудь замечательное, потому что ты заслужила. Я вот нет.

- Разве счастье можно заслужить? Оно, по-моему, валится без всяких заслуг. Или - не валится. Поминишь маму? Вот уж кто заслуживал. А я несчастливей человека не видела. Вот я все думаю, неужели она из-за нас это сделала?

- Нет, не из-за нас, - Неунывающая Марья вошла, чтобы, наконец, заставить их спать, но, заинтересовавшись, вмешалась в их разговор. - Просте вы были последней каплей. Так получилось, что в конце жизни она существовала исклю-

чительно ради вас. Больше ничего не осталось. И это вина отнюдь не ваша. Дети что? — всегда неидеальны. Задергалась она. Она была фанатиком. И с отцом нашим так из-за этого, и с работой. Совсем негибкий человек. Вложилась в вас, так вложилась.

— Марья, а ведь люди никогда не смогут быть счастливыми. Они что, — поросята? Что будет, когда мы создадим Эдем для Бвы? Ведь и там все не смогут быть счастливыми.

— Ну, при чем здесь Эдем? Тогда мы будем нравственно совсем другими. Да ты все сама знаешь, дурачишься только.

— Нет, не дурачусь. Просто человек каким был, таким и остался. Ты посмотри на людей теперешних и почитай древних писателей — то же самое. И люди, в большинстве своем, скверные. Все учат их, учат писатели добру и любви, а толку?

Марья разозлилась на Любу, потушила свет и вышла. Она не любила дискуссировать на такие скользкие темы. Марья была ревностной феминисткой и считала, что мать Тани и Любы обратила недостаточное внимание на идейное воспитание дочерей и старалась уберечь от их тлетворного влияния свою родную дочь Лену. Работала она воспитательницей девочек и когда-то очень дружила с Любимой и Таньинной матерью, а после ее самоубийства взяла их к себе. Она очень любила Таньку за то, что, как и она, Таня никогда не унижала. А Люба пришла жить к ней за компанию. Скучала без сестры. Таня время от времени ненадолго их покидала, так как имела мужа, но семейная жизнь ее не ладилась, и она частенько жила у них с отлученным мужем. Сейчас она лежала, уткнувшись лицом в подушку, беззвучно плакала и дышала ртом, чтобы Люба не догадалась. Но Люба поняла.

— Тань, ты чего? Сережку, что ли опять включала?

— Да нет, еще чего. Знаешь, последнее, что я сказала маме, было, что мы не возьмем ее в Эдем для Бвы, когда построим, потому что она несчастливая и всем портит существование, а мы хотим нормально жить и радоваться, и она нам мешает. Она прямо затряслась вся и сказала: "Ну ладно, постараюсь больше вам не мешать", нервно так, ну, знаешь. А я злилась на нее за то, что она такая нервная и

еще подумала, что вот, она хочет умереть назло нам, ну и пусть умирает. И даже как-то захотела этого. Представляешь? Ужас какой. А она сразу после этого и разбилась. Я ведь любила ее, ты знаешь, и я вообще не зная, я на нее просто в тот момент злилась. Подумав как — самой жить не хочется... Да и без этого, все равно не хочется. Пустотища... И отчего это он так любит мне душу мотать?

— Да исторгни ты его, выкинь, гад он. Я его ненавижу за то, что он тебя мучает.

— Ты ничего не понимаешь... А может, исторгну. Не могу я больше. Иду с ним по улице, а он все на девушек пялится, хорошие, мол, ножки, не то, что у тебя. Издевается. "Ну, хорошие", — говорю. И уж и внимания не обращаю. Тобой он все восторгался, фигура, мол, отличная, и вообще, рыженькая, миниатюрная. А меня телевизоркой обзывает. И что ему де этого, рядом-то ходить не приходится. Он тут загнул, чтобы я тебя к нам в постель взяла, любовь, мол, втроем, а я ему надоела.

— А ты выпусти-ка его, я ему морду сейчас набью, гад какой! Вывинь его, слышишь? Ты же красивая! А через год нового мужа выбери и забудь.

— Может и выкину... Люба, а у меня правца ноги не красивые?

— Да ну тебя, вполне порядочные ноги, длинные. Дурак он, не слушай ты.

— Представляешь, Люб, а раньше как бедные женщины с такими мучались, и не отключились — никак. Ведняги, верно?

— Ага. А знаешь, Встанькин, когда у меня все-таки будет муж, я его буду очень любить. И мне кажется, что он будет очень хороший.

— Все они хорошие.

— Танька, а отчего ты с дочкой своей так мало общаешься? Она же у тебя интересная. Помнишь, что Марья говорила, когда она родилась? Что у нее такие умные глаза, ей даже хочется сказать "вы". И что она даже в пленках выглядит умнее своей матери.

— Марья — вредная. А дочка что? Ничего дочка. Галка-На-

халка... Не для того я создана, чтобы с ней сидеть. Я и люблю ее, но такая тоска заедает, когда все время с ней торчишь. А так, когда она в пантоне, я по ней даже ску-чаю и люблю ее больше. Я не очень люблю детей. Вот вырастет - другое дело.

- А я бы очень хотела ребенка. Гуляла бы с ней, книжки читала.

- Ничего, будет и у тебя. Еще взвоешь от этих дурацких вопросов. А как она картавит - это ужас!

- Научится, куда денется! И все-таки я представить себе не могу, чтобы- я - и вдруг родила ребенка. Это, наверное, потрясающе интересно.

- Не знаю, Ляб. Я Галку и не воспринимаю, как существо, из меня вышедшее. Так, самостоятельная личность. И с самого начала такой была. Черт его знает, непонятно. Мне, знаешь, кажется, что все мы родимся уже готовыми, а воспитание, образование - это все мелочи, и сути отнюдь не меняют.

- Да. Дело темное.

Глава шестая

Летать они не пошли. Поругались. Сперва- на-за Надежды. /Почему ты на ней не женился, раз любил и т.д./ . Потом - в связи со стаей дикантно одетых порхающих пьяных девчонок лет 16-ти. Соблазнительно нагибаясь, девицы постепенно обнажались перед выходящими из Дворца Любви счастливыми и возвышенными новобрачными.

- А это еще что за групповой стриптиз?

- Просте они хотят, чтобы их видели только что воскресшие мужчины. Замуж еще нельзя, а им хочется, чтоб на них смотрели. Красивые же. Ты только посмотри, ведь залобуешься!

- Мужики-то, небось думают, что в рай попали. Такие девочки!... Нет, ну надо же такого маразма дойти! Почему же они не вернутся во дворец и не освободят законсервированных?

- Ну что ты! Так автоматика. И потом, эти девчонки сами этого не захотят. Просте развлечение по-пьянке, а так они

вполне преданные. Многие старухи — ханжа тоже на них ворчат что, мол, за молодежь, что за нравы, на кого мы оставим настроение Эдема, и в таком духе. Так времена изменились, бороться им теперь не с кем, а девать себя куда-то надо. Вот и развлекаются. И мне, если хочешь знать, так же правятся куда больше, чем скромненькие маменькины дочки. При- творяются меньше.

— Сама этим почему-то не занимаешься?

— Знаешь, милый, всему свое время. Мне не 16 лет. А в-ности я какой только эрундой не занималась! Пока в Кате- рину не влюбилась и работой не увлеклась. И с этими дев- чонками то же будет. Не век им так порхать.

— Значит, и моя Богом данная жена, точнее, невеста, то- же перед кем-то так выендривалась?

— Да это просто танец. И потом я редко, мне мама не раз- решала. Она у меня была очень правильная и вообще, героиня. В молодости целую эргию виследила. Даже награду имела.

— Что за эргия?

— Женщин, выкрававших эношей из питомника. Тогда мальчи- ков до 17-ти лет в питомниках выращивали. Это потом их в 12 лет стали подвергать полуконсервации и обучать при по- мощи программы. Катерина как раз на этом продвинулась.

— А отчего твоя мать умерла?

— Разбилась она, самоубийство. Прямо сверху — головой об скалу.

Арвадий задумался.

— Здесь еще не такое с тоски выкинешь. — Он помолчал. — Моя мать тоже умерла. От рака. Страшное дело — смерть... Так вот отчего тебе сон такой снился... А знаешь, ваше ду- радное общество, может, когда-нибудь и пользу принесет. У нас все это задавлено было, особенно у женщин. Я про тех девочек говорю. Может, это и нужно, чтобы не один мужик видел, а много. Такую красоту Бог зазря не создаст.

— А ты очень хороший.

— Да, придется здесь революцию делать.

— Ну, хватит уж революций. Была уже. И вполне хорошая.

— Ты про какую?

- Про нашу, конскую, и, знаешь...

- Да глупость это, неужели не понимаешь, идиотизм, на наших девчонок точно смотреть! Далеко мне вас, понимаешь, жалко! Это уродство!

- Не кричи, пожалуйста.

- Что, отключишь? Давай! Ну, давай, отключай, владыка! На вашу мутоту и смотреть тошно! Отключай!

- Ну и пожалуйста.

Люба с отключенным Аркадием медленно шла по берегу моря по гальке у самой воды. Солнце некле к морю блистало золотом, а на душе у нее было отчаянно грустно.

- И что это он вдруг забесился? И к нему всей душой, а он... То все хорошо, и вдруг - бэмсе!.. Дались ему эти девчонки.

Вода холодила ноги, а мокрая галька сверкала суровым, нацменным блеском. Прошелестела новая волна, и камни заволновались, забренчали мелодично и жалобно. И вновь посуровели: как никак, а остатки скалы.

- Вот так замуж! Опять одна. И все опять, как раньше.

Люба стала прислушиваться к себе, чувствует ли она внутри Аркадия или нет. И почувствовала. Всем существом своим поняла, что нет, все совсем не так, как раньше, что она не одна. От радости подекочила, наступила неудобно на камень, унала и ее захлестнуло волной. И такое острое блаженство вдруг пронзило ее, что она застонала. И, услышав крик чайки, всем телом оттолкнулась от земли, ринулась вверх, в свежий, насыщенный воздух, и там, отдаваясь потоку ветра, парила. Мокрое платье хлопало, хлестало ее, и Люба сорвала его и продолжала нестись, то спускаясь по плавной кривой, то резко вверх, лицом к солнцу, развалив на стороны золотистые груди. Она долго летала, но вдруг открыла глаза и обомлела от яркой, неземной красоты знакомого ее мира.

- Милый, милый, смотри, как чудесно, - включила она Аркадия. - И уже вместе с ним полетела вниз, вниз, и в сторону, и кружилась, и опять вверх. И медленно, плавно огибала скалы. А скалы разворачивались перед ними, прикрив налетом времени старые свои отломы и, не стыдясь,

сверкая юбки, а море зеленело, серебрилось и дышало своей сложной жизнью. От ветра глаза у Любы слезились, и солнце раздваивалось, преломилось и лучами светило прямо им в сердце. И теперь, только теперь Аркадий с Любой были одним, и они с высоты ныряли в море, плавали и вновь взлетали. А к вечеру, медленно шагая по воде к берегу решили, что Христос конечно же существовал, и Бог-отец тоже, что только что они их постигли, а Дух святой — и издавна. И на берегу, выпустив из себя Аркадия, Люба взахлеб целовала его совсем родное лицо, и до утра постигала до муки прекрасную сущность своего женского естества.

Глава седьмая

— Ты чудесно выглядишь, Люба. Тебе на пользу и муж, и море.

— Здравствуй, Катерина.

— Приветствую тебя и твоего мужа. Конечно, не отключен, коль ты так светишься.

Люба обалдело качала головой и, как зачарованная, любовалась лицом Катерины.

— Надеюсь, Люба, что дуться на меня ты больше не будешь.

— Ну что ты, что ты...

Люба, не отрываясь, смотрела на небрежно откинутые черные блестящие волосы, на лобинку между верхними резцами, на карие насмешливые глаза и энергичное тело в небрежно наброшенном белом рабочем халате — Катерина любила ходить голая. Смотрела и не понимала, как могла так долго злиться на нее, возлюбленную. И злиться так, что даже улыбка ее казалась отвратительной.

— Какая я злая! — ругала себя Люба и шепнула Аркадию:

— Правда, она прекрасная?

— Хитрая очень, — буркнул Аркадий, чем-то явно недовольный.

Люба не нашла даже слов для глупца, неспособного оценить женскую красоту. Она только фыркнула и пошла показывать ему приборы и препараты. Аппаратура очень заинтересовала Аркадия, и Любе пришлось долго и подробно объяснять

принцип ее действия. Она увлеклась, рассказывая об устройстве для искусственного исторжения, "палаче" на их жаргоне, перед схемным решением которого преклонялась и вдруг, обернувшись, поймала отчаянно испуганный взгляд Вери, устремленный на нее. Вера, как всегда появилась в лаборатории незаметно. У Любы внутри что-то оборвалось от такого взгляда. В ответ на ее испуганное: "В чем дело?", Вера, скосив глаза на дверь, быстро подошла к Любе и тихой скороговоркой произнесла:

- Что счастлива - вижу. Муж законсервирован задолго до переворота? Люба кивнула.

- Никому этого не говори. С Катериной поосторожней. - И, оглянувшись на открывавшуюся дверь, отошла. В комнату заглянула юная Лидочка, спросила, где Катерина и пропала.

После паузы Вера, глядя на недоумевающую Любу, грустно усмехнувшись, изрекла:

- И так и знала, что это опять ты.

- Объясни, наконец, что случилось?

- Ничего. Престе ты взяла архивный экземпляр. Ты, наверное, случайно забрела в музей и выбрала там не что-нибудь, а результат первого удачного консервирования. Губа не дура. Вго придется вернуть и искать себе другого.

- Но я не хочу другого!!!

- Понимаю, поэтому и говорю тебе, молчи об этом. Народу в тот день во Дворце побывало много. Только не психуй. Не смей пугаться, сейчас тебя вызовут, и ты должна быть безмятежно счастливой. Твоей муж - третьего года переворота. Поняла? Почти всем такие достались, я смотрела. Звать Андрей, военный, таких много. Фамилии своей не помнит. Ясно? Не смей плакать!

Но слезы ручьями лились по щекам Любы.

- Аркадий, милый мой! Никому не отдам, милый, как же это?

Вера с Аркадием лихорадочно утешали ее. Вера только успела напудрить ей покрасневший нос, как в комнату внеслась Катерина и пригласила Любу в зал по важному делу.

- Поздравлять? - встряхиваясь, почти радостно спросила

Люба.

- Именно.

В зале Катерина, непринужденно шагая из стороны в сторону в незастегнутом, свободно развивающемся халате, велела пяти новобрачным назвать имя своего мужа. Люба была последней.

- Александр,- Аркадий,- Аркадий,- Аркадий,- слушала она имена, и тоже прошептала: "Аркадий", и засияла, уж очень полюбила это имя. Катерина поймала эту улыбку.

- Вы у меня, как оговорились. Странно даже, имя не такое уж распространенное.

- Вы, Валентина с Александром, можете идти.

Люба молча проклинала себя за то, что не сказала: "Андрей". Одно слово - и гора с плеч. А теперь...

Катерина объявила им, что первый удачно законсервированный мужчина, гордость музея был взят случайно кем-то из них. Мужья всех остальных женщин были, как и положено, сразу зарегистрированы, а с ними произошло досадное недоразумение, которого впредь постараются не допускать. Музейный экземпляр известен под именем "Аркадий 1-й" и фамилия его не сохранилась, пропала во время переворота, что сотрудники музея очень огорчены исчезновением, что Аркадий 1-й - живая история, и что та, кому экспонат этот случайно достался, обязана вернуть его в музей, а взамен может взять любого другого мужа, хоть киноартиста, и снова получит медовый месяц.

Четверо молодых жен молчали.

- Ни за что не отдам,- поклялась Люба и совершенно некстати вылезла:

- мой - третьего года переворота,- жалобно собрала она.

Катерина мгновенно вонзила в нее умный и жесткий взгляд. Люба вдруг вспомнила, что та знает ее, как облупленного, и что она, Люба, совершенно не умеет врать, и похолодела.

Но тут вперед вышла Людмила-Стрекоза и заявила, что экземпляр этот - у нее и что она отдаст его с радостью, так консервировали в те времена, по-видимому, не очень удачно, что муж ее - тупой невращенник и как мужчина

никуда не годится.

- Вы уверены?- задумчиво спросила Катерина, обращаясь, скорей, к самой себе, продолжая сверлить взглядом Любу.

- Совершенно уверена,- напористо наступала Стрекоза.

- Хорошо,- Катерина, казалось, стряхнула с себя совершенно не относящуюся к делу мысль и мигом сняла с Любы напряжение.- Хорошо. Идите, девочки. А с вами, Людмила, мы полетим сейчас во Дворец.

У двери Люба оглянулась и поймала понимающую Катину улыбку, но не смогла определить, добрая это улыбка или нет. Она была, пожалуй, усталой, и создавалось впечатление, что Катерина одновременно улыбается какой-то другой погадке. Вообще, Катерина очень изменилась за этот месяц. Никогда она не была такой озабоченной... Но Аркадий не дал Любе подумать:

- Господи, какая ты дура! - выговаривал он. - Ну чего вылезла? Эта стерва все отлично поняла. И когда-нибудь тебе это припомнит, я уж чувствую.

- А люди очень странные, Аркадий, верно? В своих несчастьях вечно винят судьбу, а счастье считают собственной заслугой и страшно им гордятся. И меня чуть не покарали за то, что загордилась. Слава богу, во-время поняла, что любовь моя - подарок Судьбы, и что она отнимет его, когда вздумается.

- У тебя, наверно, было много неприятностей?

- А что, похоже?

- Да.

- И еще, знаешь, мне кажется, что раз мне продлили счастье, то отнимут его каким-нибудь страшным образом.

- Не пугай, Любовь, поживем - увидим.

- Ага. И пусть будет так, как будет.

- А твоя Катерина великолепно выглядит. Сколько ей лет?

- 37, а что?

- Такое тело великолепное, совсем молодое. Правильно, что она ходит голая. Только перед новобрачными нехорошо. Она это нарочно?

- Нет, даже не замечает, привыкла. Не любит, чтоб ее

что-нибудь стесняло.

- Раньше за ней мужики табунами бы ходили. Королевой создана. Здесь-то она что делает?

- Карьеру, в основном. А ты на глазах прогрессируешь, молодец... Знаешь, что странно: она ведь могла расспросить всех поодиночке и все моментально бы выяснилось. Так, на-ру вопросов при встрече. Эй бы каждая с радостью рассказывала. Почему она так? И столько всего наобещала, и мужа-киноартиста и отпуск дополнительный. Как будто, чтобы специально отыскать ту, кому муж не понравился. Странно. Или ей просто не до этого... нет, вряд ли, дело интересное. Катерина такое любит, или она заранее знала, что эк-спонат у меня. Но тогда почему она меня вдруг пожалела? Никого она никогда не жалеет... Нет, с ней определенно творится что-то странное... И почему она, а не директри-са? Неужели Катя и ее скинула? Ай да Катя!

Глава восьмая

Телефон забренчал начало скрипичного концерта Мендель-сона. Люба сняла трубку.

- Хорошо, Таня, иду.

- У тебя прямо не телефон, а музыкальная шкатулка.

- Это Таня, сестра. У нее неприятность.

- С чего ты взяла?

- Малуется, слышал Мендельсоном. Танька-Встанька, на-верное, единственный человек, который не признает, что у каждого своя мелодия и звонит как ей вздумается, под настроение. Идем к ней, она очень хорошая.

Таня открыла им в рваном халате с опухшим лицом. Взгля-нув в ее совсем заплаканные глаза-щелочки, Люба отключила Аркадия.

- Таня, что с тобой? Ты плачешь?

- Нет, читаю, - Таня говорила совершенно нормально.

- С лицом-то что?

- А черт его знает. Правда я на японку похожа? Это еще что! Ты бы вчера на меня посмотрела! Губы были раза в три толще этих. Негритянка! Сегодня уже не то.

- Что случилось?

- Судили меня три дня назад. Сережку исторгли.

- Как?

- Как, как, исторжителем, не знаешь, что ли?

- Танька, ведь давно пора. Этого ты, что ли, дожидалась. Исторгла бы его сама и спокойно выбрала бы через год другого. Теперь-то тебе когда нового мужа можно?

- Никогда. Пожизненно. Да я и не хочу нового.

- За что так сурово?

- Ну разозлилась я на них и обругала. Самы-то тоже не бог весть как с мужьями живут, прикидываются только. Вруньи. Я им так и сказала. А в чужую жизнь лезут. А я не люблю притворяться. И вовсе не из-за него я тогда грустила, задумалась просто. Так, вещь одна в голову пришла. А у нас, видишь ли, задумываться теперь нельзя, обязательно какая-нибудь сволоочь сунется и в душу начнет лезть, якобы по дружбе. А пошлешь ее, так на тебе, пожалуйста, суд. Сколько я уже работ из-за таких сменила. Все расспрашивают, с мужем, мол, как. Какое их дело! А с этой работы я из принципа решила не уходить. Все равно, везде— одно и то же. Это тебе как-то повезло. Кстати, председателем на суде была твоя Катерина. Она теперь какая-то шишка. Перед ней все лебезили, даже ваша директриса. Похоже, что Катя и ее переплюнула.

- Директриса что там делала?

- Общественность представляла.

- Меня, жаль, там не было.

- Ты бы ничем не смогла помочь. Никто тебя бы и не слушал.

Танька работала художником-декоратором, оформляла интерьеры кафе и улицы к праздникам.

- Ничего, Тань, обойдется. Ты же картину писать хотела.

- Какую картину, какую? Крачная картинка должна у меня выйти. А ты разве не знаешь, что картины у нас должны быть радостными? К Эдему ведь идем, вот-вот там будем.

Ты женское государство наше— любишь?

- ???

- Люби!

- Ты что, с ума сошла?

- Нет, вхожу только. Не верь, что счастье тебя ждет, слышишь? Не с чего ему быть, да и ждать не от кого. Замерши-супруги наши. Шагу без нас не ступят. Так что двойную ношу несем, собственные неприятности и скверного муженька со стержовым характером. И жизнь вся - только твоя ноша, Любушка. Снесешь - твоя честь, а нет - с прикивалищем отдохнешь. Ты-то как? Не дохнешь еще? Любит пока?

- Почему пока?

- А вот увидишь.

- Каркать перестань!

- Ладно, не буду, сама переживешь. Может, у тебя и обойдется... Только вот как я одна буду - не знаю. Любила я его, понимаешь? Знала, что гад он, а любила. Не могу без него. Роба вот пухнет, и тело все чешется. Нервы. Крапивница. С ним плохо, а без него вообще никак. Ты вот, исторгнешь, только счастливей, небось, станешь. А я из ребра Сережина. Выпустишь его ночью, обнимет тебя - и дома себя чувствуешь, понимаешь? А теперь - с постели не встать. Незачем вставать. И ноги не идут, тоже распухли. Так что никуда я теперь не погуся, на душе-могила. Тишина - вить впору... Не сердись, что я так.

- Ты отоспился, Танечка, пройдет все, отоспиешь и не думай.

- Конечно, пройдет, куда денусь. Зря я тебя позвала, не понимаешь ты ничего. Счастливая больно. Дорвалась. Ты к Марье зайди Неунывающей. Я-то не могу к ней с такой физиономией. Ей только этого сейчас не хватает... Ты люби его, Люба.

- Хорошо, постараюсь. За всех женщин буду любить, у кого мужей нет. А ты отдыхай, спи и читай что-нибудь смешное. Брось ты серьезное.

- Марье привет передавай. Не говори ей ничего. Я сама. Очухалась и зайду. Будь счастлива!

Дверь закрылась. Сердце у Люби ныло от жалости к Тане. Она включила Аркадия.

- Твоя Тани - прямо как китайка. Высоченная только.

В жизнь не поверил бы, что вы близнецы. У нее что-нибудь случилось? Это от нервов, я знаю.

Глава девятая

У Марьи Неунывающей было еще хуже. Марья открыла дверь спокойная. Но внутренняя ее напряженность передалась Любе и она испугалась.

- Говори, Марья, что случилось.

Марья внимательно взглянула на Любу:

- А ты выдержишь?

Люба пошатнулась, говоря: "Да".

- Пойдем, едем.

Марья провела Любу на кухню и они сели. Сердце Любы бешено колотилось от страха. Она прислушалась к квартире. Там не ощущалось ничье присутствие.

- Лена, да?

Марья кивнула и стала обстоятельно и спокойно рассказывать о ленином самоубийстве. Руки ее дрожали. Она рассказала, как та отравилась какими-то таблетками, как ее отвезли в больницу и промывали желудок. И как все-таки откачали. Люба перевела дух:

- Значит, теперь все в порядке?

- Ты слушай дальше.

Люба опять напряглась. А Марья рассказала, как Ленка нахамила врачихе и как та отправила ее в отместку в сумасшедший дом.

- Да она же здоровая, Марья! Это просто дурь. Неприятность какая-нибудь. Многие девчонки пробуют. А тоже пытались, еще когда мама была жива. Обойдется все. Пошли к ней в больницу. Ты была уже?

- Была. Вледненькая она.

- Брунда, поправится. Из-за чего хоть она?

- Ты же знаешь, она ничего никогда не говорит.

Люба с Марьей пошли в психиатрическую. Здание больницы было мрачным, с тяжелыми решетками на окнах. С Леной они немного погуляли по больничному саду. Неудавшаяся самоубийца была необыкновенно веселой и просветленной, хваста-

лась своим ярчайшим халатом и смеялась над повадками больных.

- У нас здесь все - сплошь самоубийцы. Вон та - вены себе разала. Она плачет все, говорит, что все равно будет. А в основном у нас - здоровые, те, что с врачихой поругались. Мы тут смеялись, куда бы дели Анну Каренину, если бы поезд остановили? Сюда, в дурдом... А вон, мама, Люба, - посмотрите на ту. Шизо. Одна у нас такая. Настоящая больная. Неизлечимая.

Люба со страхом поглядела на солидную женщину неопределенного возраста, с безнадежно-тупым лицом и жутковатым взглядом исподлобья.

- Вот, Люба, посмотри, как вредно излишне много думать, хихикнула злобредная Ленка-Тряпичница. А Люба рассказала ей об одном древнем царе, имени которого не помнила, страдавшего приступами тоски, и как его остроумно вылечили, подарив кольцо с надписью "И это пройдет". Ленке это очень понравилось, и она решила завести себе такое же кольцо. Когда Марья отошла показывать медсестре передачу, Люба сделала Ленке выговор:

- Ты что о матери своей не подумала? С тебя как с гуся вода, а ей... На Марью смотреть жалко. Да и мне, и Таньке, нам ведь не все равно.

- Ладно, Люба, я все поняла.

- Послушай, а у тебя это продумано было, или ты так, с отчаянья?

- Продумано. Я давно собиралась

- Не делай этого больше. Жизнь прекрасна.

- Да, и даже очень. К тому же завтра меня выпишывают. А все-таки это полезно попробовать. Мингом мудреешь. И я как-то очень счастлива теперь.

Назад Марья шла веселая.

- Как хорошо, что ты зашла, Люба!

- Когда она это сделала?

- На другой день как ты улетела за мужем. Я тоже не сразу узнала. Подружки звонили.

Люба вспомнила сон, приснившийся ей как раз в ту ночь,

когда она меньше всего о них вспомнила и поразилась.

Она шла домой и стыдилась своего счастья, оно казалось ей теперь таким мелким. Она припоминала самые незначительные эпизоды из жизни Лены и кляла себя за то, что так мало с ней дружила и придумала очаровательной Ленке кличку Тряпичница. Люба сейчас до дрожи любила ее. Потом вспомнила Таню. Час от часу не легче.

- И все-таки как хорошо, что у меня есть Аркадий.

Аркадий тоже был ирачен. Он поклялся себе, что назло всему миру сделает Любу счастливой.

Когда на следующий день Люба пришла на работу, она взглянула на "палача" с отвращением. Ему больше не нравились принципы его действия.

Глава десятая

Любина работа Аркадию не нравилась. Не желал он искусственно отключать своих товарищей по несчастью. Да и вообще, отношения их оставляли желать лучшего. Аркадий заставлял Любу прочитывать газеты от корки до корки и издевался над каждым словом. Газеты ему, правда, быстро надоели. Потом она с ним читала Историю, как путь к Новому Эдему. Издеваться Аркадий перестал. Он думал. Он расспрашивал Любу обо всех государственных заговорах и как они были разгромлены. Люба обижалась на явное недовольство их обществом. Уж, кажется, она делает все возможное, чтобы ему у них понравилось.

- Не понимаешь ты, Люба. Я люблю тебя, и все это очень хорошо. Не я в тебе, как в клетке, не могу я так быть счастливым. Ты сама подумай. Хотя вы, женщины, конечно, молодцы, не так уж дурно все устроили. И действительно, сневойней стало, но ненормально это! Знаешь, о чем я мечтаю: просто пройти с тобой рядом по улице - и все. И еще выпить пива с Дряньинным. У меня и друзей-то теперь нет. Хорошо, с Лидочкой потреться можно, пока ты работаешь. И то ревнуешь. Глупо до чего, куда я от тебя денусь?

- Ты можешь любить, кого хочешь.

- Вот спасибо! Полная свобода, ничего не скажешь!

- Я тебе надоела?

- Нет, не надоела, ты милая очень, просто должны у меня быть какие-то свои дела, свои впечатления. И тебе я сказки читать не даю.

- Да ничего. Послушай, а почему Дрянькин? Он же хороший?

- Конечно, хороший. У него и фамилия такая, Хорошев.

- А почему - Дрянькин?

- Вот поэтому. Из-за фамилии. И он всегда говорит: "Дело - дрянь".

По телевизору танцевала Светлана Длинноногая. Исполняла свой знаменитый танец любви. Танцевала удивительно.

Молоденькой девчонкой кубарем взлетывалась на сцену и восторженно отплясывала что-то дикарьски-счастливое, прыгала, вращалась сперва бешено, потом все плавней, грациознее и, наконец, сильно оттолкнувшись, взлетала над сценой и на несколько секунд повисала в воздухе настолько переполненная счастьем, что зал не смел вздохнуть, медленно опускалась и кружилась, и прозрачное платье нежно обволакивало ее стан в такт ее шагам и движениям. Вдруг она упрямо топала ножкой, вскидывала голову опять по-девчоночьи резко, и платье упрямо топорщилось на ней, а разгневанная балерина бурно протестовала против чего-то бешеными прыжками и презрительными вращениями, потом переставала упрямиться и уже жалобно о чем-то умоляла. И непрощенная, придавленная тяжелой душой горбилась, клонилась к земле и огорченно брела по сцене. Затем возрождалась и, вновь сильная, взмывала опять в виртуозном прыжке и парила по-новому счастливая, как бы отрекаясь от всего мелкого и приобщаясь к высшему земному благу - любви. На глазах она превращалась в женщину великую своей любовью. Она царила и властвовала. И в последнем мягком, но торжествующем жесте она застыла и, наскоро, не сразу взорвался зал аплодисментами, а она опустилась в реверансе.

В танце ее было столько энергии, нежности и чувственности, что Аркадий обомлел. Он никогда не видел ничего подобного. А что касается любви, то Светлана давно была ее

кумиром.

В интервью балерина сообщила телезрителям, что она счастлива так, как только может быть счастлива женщина в прекрасном и гуманном женском обществе, которое дает ей возможность творить, работать и наслаждаться семейным уютом.

- А супруг ваш тоже счастлив? - спросила детошная журналистка.

- Пусть он сам ответит.

Супруг заявил, что счастлив так, как только может быть счастлив нормальный мужчина, обладая такой удивительной и прекрасной женщиной, а что желал бы только одного: посмотреть, как его жена танцует.

- Я не знаю, что бы я без него делала! - воскликнула Светлана, - он меня окрыляет, вдохновляет во время танца. Он сам танцор по призванию, а я танцую не одна, нет, мы танцуем дуэтом. Только зрители видят одну меня. А так, все мои танцы - па-де-де.

Любе снилось, что она с Аркадием рядом идет по берегу моря. У него смешная и угловатая походка. Она над ним смеется, а он стесняется и идет еще смешнее.

Она проснулась раньше мужа и тихо плакала, чтобы не будить Аркадия. И вдруг ее озарило.

- Аркадий, Аркадий, проснись, слышишь! Ты будешь свободным! Я придумала! Я ведь занималась немного частичным расконсервированием, ну, для питательной среды... А здесь даже проще. Я попробую!

Теперь от работы ее было не оторвать. Она рылась в книгах целыми днями и только к вечеру прибегала к Вере извиняться. Но Вере ничего не стоило делать и Любину работу, она работала за двоих и совсем не сердилась. Занимайся, мол, чем нравится. Аркадий за Любой не поспевал. Это был не его профиль.

- Ничего, золотой мой, вот освобожу тебя, и у тебя будет своя работа и свои дела. И мы будем тайно встречаться, как самые настоящие любовники. Я наряжу тебя девушкой, и никто не догадается. А ты отличишься, выберешь во Дворце Любви себе друга, может, даже Дрянкина, и будешь с

ним по ночам пить пиво. И я тоже с вами буду.

- А потом мы освободим Дрянкина и уж он-то придумает, как сверотить наше паршивое государство.

- Ой, что ты, не надо! Такой бардак начнется, вообразить страшно.

- Ладно, потом придумаем. Ты возьми как-нибудь подшивку газет за несколько лет, и посмотрю.

- Какую подшивку?

- Ну, газеты, собранные за несколько лет. Что, у вас нет?

- Нет. Мы газет не храним. Их положено сдавать на переработку, бумагу чтоб экономить.

- И никто не коллекционирует?

- Нет, нам не разрешают. Каждую неделю положено сдавать. Проверяют даже, все ли номера на месте.

- Можно покупать в двух экземплярах.

- Их же не продают. Каждый получает в день по газете, а через неделю сдает 6 штук. А зачем копить? Грязь одна.

- И никаких других газет, кроме "Нового Эдема" у вас нет?

- Нет. А знаешь, милый, в счастье должно быть немного боли, так красивее. Помнишь Светлану Длинноногую и ее мужа?... А ты видел, как танцуют па-де-де?

- Видел.

- Красиво?

- Когда как.

- А ты танцевал с девушками?

- Еще как!

- Я бы очень хотела с тобой танцевать. Как освободишься, станцуем, ладно?

- Ладно. А почему ты сказала любишь читать? Современной литературы у вас нет, что ли? Стихов, например.

- Есть. Только я что-то не очень литературу современную люблю. Ии с тобой как-нибудь почитаем, если тебе интересно.

Глава одиннадцатая

- Все, Аркадий. Слышишь? - в с е . Все-все-все.

Люба положила руки на колени и сидела смиренно, как отличница. После трехмесячного напряжения окончание работы не принесло облегчения, она вдруг сразу устала. И стала раскачиваться на стуле из стороны в сторону, напевая во все возрастающем темпе:

- Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все.

- Ты уверена, что получится?

- Ничего не знаю, милый, ничего не знаю. Все, что могла, сделала. Все. Больше ничего не могу придумать. Ничего. Ничего и не надо. Все сделано. Сегодня ночью ты будешь освобождаться. Все.

- Что-то слишком вдруг. Ты говорила, много осталось, и вдруг раз - и все. Проверь еще раз.

- Проверила. Все. Почему - вдруг? Целых три месяца корпю, как прижитая, а ты - вдруг.

Три месяца, пока Люба работала, Аркадий поддерживал ее душевное состояние и преуспел в этом. Любили они теперь друг друга до умопомрачения. Аркадию, правда, приходилось скучать, но что поделаешь. Он заставлял Любу во-время есть и прогуливаться, придирчиво следил за ходом ее работы и подкидывал бредовые идеи, которые Люба хотя и рассматривала /они с Аркадием уже давно решили, что порядочные идеи должны быть бредовыми/, но поступала по-своему. Аркадий не обижался: он оберегал Любу, ее равновесие. Люба, правда, находила повод к расстройству из-за того, например, что живут они вместе так долго, почти пять месяцев, а она до сих пор не забеременела. Аркадий утешал ее тем, что в неволе не размножаются. С работой не торопился, опять-таки оберегая ее покой. И, наконец, - все.

Они медленно шли домой. Люба, свято верившая в предчувствия, так и не смогла определить, дурное предчувствие у нее на сегодняшний вечер или хорошее. И тайно от атеиста Аркадия молилась Богу. Аркадий тоже молился, так, на всякий случай. Ему было страшно.

Они пришли. Люба поела, давась, потому что аппетита у

нее не было. Но раз надо, значит надо. Она с трудом одолела миску мяса, вскинула три шприца: Аркадию, себе, и обоим вместе. Наполнила шприцы, прикрепив к каждому цветную бумажку: красную - обоим, зеленую - Аркадию, синюю - себе. Чтоб не перепутать. Потом испугалась, что все-таки перепутает и написала бумажки. Движения ее были замедленны и методичны, но приготовления кончились все равно на редкость быстро. Аркадий не произнес ни слова.

Люба разделась, взяла шприц с красной бумажкой, прочитала надпись, туго завязала на левом предплечье резиновый шнур и стала накачивать вену. Накачала, протерла спиртом, воткнула в вену иглу, попала, и медленно ввела вакцину. Было небольно. Закончив, она осторожно вытаскивала иглу и, туго сквав егибом ватку со спиртом, развязала шнур и легла на спину поверх одеяла. Нужно было лежать час. Оба молчали. Старались ни о чем не думать. У Любы получалось: она воображала, что плавает на спине в море, покачиваясь на волнах. Она слишком устала за эти три месяца, чтобы думать. У Аркадия в голове беспорядочно скакали отрывочные мысли. Он психовал. Этот час показался ему бесконечным, Люба его даже не почувствовала. Она выпустила Аркадия и чуть улыбнулась, взглянув в его серьезнейшее и напряженное лицо. Он, увидев себя со стороны, притенул, но мигом несерьезнел, когда Люба угрожающе придвинулась к нему со шприцем в руке, и нарочно громко ныл, пока она делала укол. Люба быстро вприснула себе в мышцу содержимое шприца с синей бумажкой. Это была изданный раскошь. Аркадий уверил ее на это, уверяя, что несправедливо, если он получит два укола, а она только один. К тому же это должно иметь символическое значение, этим уколом Люба как бы давала согласие на отделение Аркадия.

Инъекции были сделаны, нужное время прошло, и Люба начала непосредственно поглядывать на жука, который сляпался встать, но не мог. Выражение лица у него было при этом такое старательное, что Люба засмеялась, думая, что он дурачится. Но увидела страх и растерянность в его глазах, мгновенно умолкла и, хлосдея, стала мысленно проверять

ход своей работы. Все было правильно, но Аркадий не вставал. Он уже устал от тщетных попыток, растянулся на спине и закурил.

- Ничего не получается, — произнес он жалобно.

Люба хотелось плакать, но она себе не позволяла, лихо-радочно и без толку роясь в мозгах в поисках чего-то. Чего — она не знала, но ей казалось, что не хватает чего-то совсем немногого, чтобы Аркадий встал. Не смогла найти, чего именно и рассердилась.

- Ты сам, ты нарочно не хочешь вставать!

- Бог с тобой, Люба, я стараюсь.

- Ты мало старался, еще попробуй!

У Аркадия опять не получилось.

- Ты, наверно, сам в душе подсчеточно решил. Подумай, как следует.

- Да знаешь, Люба, страшновато немногo. Ведь скриваться придется.

- Вот поэтому и не получается. Ты постарайся, решишь. Только представь себе, как хорошо своими ногами пройти по земле. Идешь босиком по траве, и трава прохладная, мягкая, зеленая. А то, что шипки сосновые под пятку попадают, тоже приятно, что с того, что немногo больно. И летать ты сам будешь, а не во мне. И сам, своей кожей будешь чувствовать воздух, знаешь, как чудесно. И плавать. Я-то плохо умею, а ты меня научишь. Родной мой, миленький, ну, постарайся, я тебя летать научу, ну, давай!

- Понимаешь, Люб...

- Не думай ты о ерунде всякой, потом придумаем. Ты только решишь, ну, встань, и ходи.

- Ты прямо, как Христос.

- Не выдумывай, пожалуйста. Поверь просто в то, что можешь ходить. Вакцина же правильная, ты же можешь. Ну, кому говорю. Встань и ходи.

Аркадий встал и прошел до середины комнаты. Растерянно оглянулся, опустился на колени и... заплакал.

- Ты походи еще, походи, миленький, — тоже плача, уговаривала его Люба.

Аркадий поднялся с колен, зигзагами прочесал всю комнату

высоко подпрыгнул и проехался колесом.

- Теперь все в порядке, Люба. Уже не разучусь. Просто мне было трудно вспомнить.

Они обнялись, сидя на полу. Хотя оба давно с нетерпением ждали этого, получилось все неожиданно и невероятно. Аркадий, смакуя каждый шаг, пошел к холодильнику, достал бутылку вина, открыл ее, хлебнул из горлышка и с непривычки поперхнулся. Он долго кашлял, Люба била его по спине, приталила бокалы и наполнила их дрожащими руками, пролив вино на пол. Увидев такое козунство, Аркадий мигом перестал кашлять, отобрал у Любы бутылку, выпил и заплясал вприпрыжку вокруг изумленно смеющейся Любы.

Они пили и плясали полночи. Люба напилась пьяненькая и икала. Аркадий ходил вокруг нее петухом, шутя задираясь и ухаживая. Потом, почувствовав, что ноги у него отваливаются от усталости и плясать он больше не в силах, провозгласил:

- А сейчас, родная моя, золотая красавица, гениальнейший ученый и обязательнейшая женщина, ты, наконец, познаешь первозданного, свободного и вполне самостоятельного мужчину.

И крепко схватив в руках ее нежные груди, волнуясь и властно стал целовать ее шею, плечи, откинутый подбородок. Потом подняв Любу на руки, покружил и понес в постель.

Глава двенадцатая

Жизнь поистине была прекрасна. Аркадий целыми днями усиленно изучал книги, а Люба на работе, в основном, мечтала. Сознание того, что она - государственная преступница, приятно щекотало ей нервы. Аркадия она полюбила еще больше, так как теперь он был продуктом и ее творчества. Люба им гордилась и стремилась всем показать под видом новой подруги, но Аркадий упорно от этого уклонялся и выходил на прогулку с ней только по вечерам, когда темно. Женское одевание ему на редкость не шло, он становился в нем уморительным и неулыбким и страшно веселил этим Любу. Она

посмеивалась над ним, Аркадий смущался и старался сократить и без того непродолжительные прогулки.

От того, что жизнь их стала столь таинственной и потрясающе интересной, Люба сияла, переполненная своим умом-рачительным счастьем. Но девать его было некуда: Аркадий строго-настрого запретил посвящать кого бы то ни было в тайну его освобождения. И теперь Люба, вместо того, чтобы работать, писала стихи, в которые выплескивала все, что бурляло на душе и тщательно хранила их в рабочем столе под замком.

Вскоре выяснилось, что вакцины, над которыми Люба была три месяца, оказали на освобождение Аркадия лишь психологическое воздействие, хотя были разработаны теоретически безупречно. Главным была решимость и сильное желание каждого освободиться друг от друга. А также уверенность в том, что это возможно.

Они узнали об этом случайно, когда к Любе неожиданно пришла в гости Вера, и надо было срочно куда-нибудь спрятать Аркадия. Любе пришлось снова впустить его в себя. Она очень нервничала, беседуя с Верой, путала слова и вела себя как законченная идиотка, как потом объяснил ее поведение Аркадий. А Веру она повергла в сильнейшее недоумение. Любине поведение в последнее время и без того очень удивляло ее. Рассеянность, небрежность в работе, новая манера подыскивать предлоги, чтобы улизнуть домой, лучезарная физиономия, когда ей удавалось добиться этого — все было совсем не похоже на Любу. Может быть, об этом собиралась говорить с ней Вера, может, о другом. Во всяком случае она ничего не сказала, посмотрела внимательно на книги, которые читал Аркадий, немного поговорила с невменяемой Любой на отвлеchenные темы и ушла.

Любе было лень кипятить варицы и они решили попробовать так. И получилось. Не пришлось даже говорить магических слов: "Встань и ходи".

Люба уже настолько привыкла к самостоятельно передающемуся Аркадию, что даже не удивилась столь элементарному его вторичному освобождению. Но когда она вспомнила

свою кропотливейшую трехмесячную работу, гордость своим научным и гражданским подвигом, ей стало так стыдно, что она не решалась смотреть Аркадию в глаза и боялась выйти на улицу, как будто все прохожие знали о ее дурацком конфузе. Потом она одумалась, вспомнила, что никто ничего не знает.

- Почему? Это ведь так просто! Это ведь каждый может! - пронзило ее мозг и она стала внимательно изучать встретившихся женщин, пыталась по выражению лиц понять, приходило ли в голову попробовать освободить своего супруга или нет. И видела, что нет. Это изумило ее. Она вспоминала мужа сестры Тани, своей матери, Марьи, многих других женщин и не понимала, как такая простая вещь не пришла им в голову. Потом осознала, что и ей это бы никогда не вошло в голову, если бы она не довела до конца работу. Значит, все-таки не зря прошли эти три месяца. И тогда Люба стала размышлять о том, кто из их института тоже мог бы этим заниматься. Она перебрала всех и остановилась на Вере. Люба припомнила ее жесты, взгляды, слова. За всем сквозила какая-то тайна, и чем больше Люба думала, тем больше приходила к убеждению, что тайна Веры в этом же роде и что это какое-нибудь несчастье. Она кляла себя за то, что не думала об этом раньше. Ведь она уже почти год работает с Верой, даже дружит. Но дружба касалась, в основном, книг, стихов и ее, Любиной, жизни.

- Какая я свинья! - проклинала себя Люба. - Я занята только собой и своими дурацкими переживаниями, отривала Веру от ее дел, конечно, гораздо более важных. А теперь, когда моя жизнь утряслась, вообще почти перестала обращать на нее внимание. А у Веры, по-видимому, какое-то горе. Слов нет, какая я сволочь.

Она пришла на работу и первым делом извинилась перед Верой за то, что стала уделять ей так мало внимания. Вера успокоила ее.

- Ну что ты! Это ведь так понятно, ты вышла замуж, у тебя своя жизнь и, как видно, насыщенная. Это все очень хорошо, я за тебя рада. С чего ты взяла, что я на тебя в

обиде? Совсем нет. Я просто в тебе кое-чего не понимаю последнее время, ну так и что же. Не обязательно ведь все рассказывать даже друзьям. Ты зря переживаешь.

У Любы отлегло от сердца и она рискнула спросить Веру, не думала ли та когда-нибудь о возможности освобождения живущего внутри мужа путем частичного исторжения и последующей мгновенной материализации.

- Ах, вот над чем ты с таким samozабвением работала! - Всплеснула руками Вера и захохотала. - А я-то гадала! Мне, правда, приходило в голову такая мысль, но я решила, что ты слишком правоверная и к тому же росла в такой семье... - Вера смеялась счастливым смехом и даже хлопала в ладоши от радости:

- А ты - молодец! Я-то думала, что наши разговоры о справедливости, равенстве и добре имеют для тебя чисто абстрактное значение. Прости меня, я ошиблась. Все-таки я думаю о людях хуже, чем они есть. Ой, порадовала ты меня!

Она сиять рассмеялась, о чем-то улыбаясь, задумалась. Потом посерьезнела.

- Думала, еще как думала, работать начала, но меня вдруг осенило, что метод неверен. Ты, наверное, не знаешь, что раньше консервировали при помощи гипноза, точнее, первой ступенью консервации был гипноз, сильное внушение. А нужно обратное внушение, как минимум, такой же силы. А где его взять? Людей таких повывели. Способных на это - единицы. И тех уничтожают. Ведь во всех антигосударственных заговорах участвовали выдающиеся женщины, которые что-то могли, что-то из себя представляли, имели мужество хотя бы думать не так как все. Их же консервируют! Ты бы видела, какая там драка, как друг друга поддеживают - это жутко! А как теперь консервируют! Просто-напросто закалывают уколами до неизменяемости. Некоторые умирают. Ты, кстати, заметила, что мужья всем достаются консервации первых лет революции? Мужчины, что потом - неполющенны, туны и не справляются со своими супружескими обязанностями. Вранье, что они выдаются за особые заслуги! Я все это точно знаю, потому что там работала. До замужества еще.

Ох, работенка! Работала я, кстати, вместе с Катериной. Тогда у нас и произошел разрыв. Я была против ранней консервации мальчиков. Предлагала консервировать 18-летних юношей при помощи гипноза и поскорей отдавать в мужья, чтобы они продолжали развиваться более или менее естественным образом. Женщину даже нашла, которая могла гипнотизировать. И, вообще, предлагала снизить брачный возраст до 18-ти лет. Как на меня Катерина обрушилась! Странно вспомнить! — "Тайная подсобница антигосударственных группировок! Замаскировавшийся враг, проникший в святая святых нашего общества!" Как только не обзывала! С работы меня после этого уволили. Взяли подписку о неразглашении. С таким клеймом нигде было не устроится. Я еще хорошо отдедалась. Теперь-то я понимаю, Катерина мне все-таки помогла. Они там сора из избы выносить не любят. Консервация — и все. А вот куда моя женщина-гипнотизер делась — неизвестно. Жутко. Я занялась приборами, благо, молодая была, подхалтуривала маленько, официально меня никуда не брали. Только через три года сюда приняли. Катерина помогла. А на брак разрешение дали, когда мне было 26 лет. Моему старшему сыну осталось полтора года до консервации. Вот так.

Вера замолчала и мрачно задумалась. Потрясенная Люба молчала. Потом, заикаясь, вымолвила:

- Значит, тех мальчиков, что сейчас...
- На убой. Выходит, что так...
- А как же... Ведь когда старых мужчин не останется...
- Вот тогда-то и будут потомки нашу нашу расхлебывать.

Нашим дочерям еще хватит, я подсчитывала, а потом что? Подумать жутко! Катерина — она ведь вся в крови. Почему она все время моется? И голая почему ходит? Все от этого. Тогда она и начала. Тоже, значит, как-то переживает. Переживает, но делает.

Медленно, как чужие, переставляла Люба ноги. Перед глазами ее строем или толпой нарядных мальчиков, или под музыку, с песнями и цветами. Так их провожали на самолет, отлетающий ко Дворцу Любви. Там их консервировали. Это происходило каждый год 1-го июня, в праздник Начала Переворота.

- Это хуже, чем газовые камеры! - звенело в голове у Лябы, и те же самые воскликнул Аркадий, которому Ляба все рассказала, не сходя с порога.

Во сне ей снились празднично одетые мальчики, с песнями строем входявшие в ворота крематория. Из трубы вырывался дым. И дым этот был таким тяжелым и жирным, что не взвивался в небо, а падал с покатой крыши и стелился по земле.

Глава тринадцатая

Аркадий сравнительно быстро оправился от Лябиного сообщения, заявив, что ничего хорошего от бабского общества и не ждал. Он забросил все книги и читал теперь исключительно Библию. Вообще, в их отношениях намечался перелом - уже не было пылкой влюбленности первых месяцев, хотя любил они друг друга не меньше, а может быть, даже больше, и оба по-прежнему бурно наслаждались еженощными объятиями. Просто их отношения стали слишком товарищескими. Препало какое-то таинство, все было слишком будничным, ежедневным. А душа требовала праздника. Особенно у Аркадия. Тем более, что Ляба после разговора с Верой находилась в мрачном, подавленном состоянии. Оба полюбили гулять в одиночестве, Ляба - днем, чтобы смотреть в лица людей, а Аркадий - вечером. Хотя он привык разговаривать женским голосом, но все равно его широкие плечи и мужские черты лица смущали женщин, когда он показывался на улице днем. Дамы вились вокруг него, как бабочки у светильника и глядели на него так, что даже он, когда-то выдавший вида, пугался и, тщательно заметая следы, скрывался в квартире. Но после того, как Ляба сказала, что он может гулять без опаски, потому что никому в голову никогда не придет, что мужчина может запросто идти по улице, и что он может, не скрываясь, вполочиться за женщинами, потому что у них приняты любве-странные, Аркадий немного осмелел. Даже завел себе подружку, с которой прогуливался, летал при луне и вел задушевные ларические разговоры. Ляба знала это и посмеивалась, видя, как тщательно он брился, душился и одевался, собиравшись на свидание.

Ей было не до ревности. Люба решала важную для себя проблему. Все ее силы были в напряжении. Все самое главное, о чем она когда-либо думала, начиная с первых лет жизни, все что ее когда-либо сильно волновало — книги, стихи, науки, которые она изучала, любовь к Катерине, прежние дружеские связи, жизни матери, сестры, Марии, Лени — все-все соединялось здесь, сейчас, цеплялось за тот разговор с Верой и шло куда-то дальше, она не знала, куда, и бродила, бродила в собственном соку. Все ее впечатления и размышления складывались в комбинации, разрушались под влиянием какой-нибудь новой детали, собирались в другие, потом эти отдельные комбинации как-то меж собой сочетались, дробились, накладывались друг на друга уже иначе. Она все время ходила вокруг одного и того же, рассматривая свои комбинации то под одним углом, то под другим. И все вертелось не только вокруг устройства их общества, несовершенство которого она замечала и раньше, тут дело было в чем-то более глубоком, общечеловеческом. Ей стало не хватать образования. Она впилась в книги, увлеклась историей, литературой, поэзией, живописью, всем сразу. Сперва лихо-радочно хваталась то за одно, то за другое, потом поняла, что так будет еще хуже, и стала просвещаться уже без паники, но все равно поглощая книги в хаотическом, на взгляд Аркадия, порядке. На самом деле она придерживалась своего внутреннего чутья, которое ее явно куда-то вело, и решила подчиниться ему безоговорочно, тем более, что другого пути она не знала. Она чувствовала что-то общее в трудах самых разных авторов, поэтов, живописцев, историков, литераторов. И это общее было близко ей, родственно, необходимо.

В ней шла напряженная умственная работа, шла непрерывно, что бы она ни делала, работала, ела, спала, или наслаждалась любовью с Аркадием, который, с тех пор как завел романтическую подружку, стал очень активным в этом смысле и жаждал обладать Любой в любое, даже самое неподходящее время. Несколько раз он врвался к ней на работу и утаскивал под видом срочного и важного дела. Он стал

восторженным, пылким, всячески изощрялся в любовных делах, помещался на Песне Песней и говорил Любе изысканнейшие фривольные комплименты. Как всякой женщине, Любе были приятны эти знаки любви, но мало-помалу ей начала надоедать излишняя, на ее взгляд, пылкость.

Но вскоре все изменилось. Подружка Аркадия оказалась особой не только романтичной, но и чувственной, что, может быть, было бы приятно в какой-нибудь иной ситуации, но никак не в этой. Подружке было 19 лет, по-женски она давно созрела, и ей быстро надоели платонические порхания под луной и поэтические откровения, вдохновляющие Аркадия. Она стала делать ему прозрачные намеки, от которых он умело увиливал, томно вздыхала и после первого отнюдь не платонического поцелуя, во время которого подружка попыталась ласкать несуществующие груди Аркадия, тот понял, что зарвался, и что роман пора кончать, пока его не накрили. Он перестал ходить на свидания, задумчиво слонялся по комнатам, детально штудировав Евангелие, затем увлекся Экклезиастом, найдя у него весь смысл и мудрость жизни. И это было все. На все явления он стал смотреть с Экклезиастовой колокольни, и называл их не иначе, как суетой сует и томлением духа.

Занятая собственными размышлениями, Люба не сразу заметила этой перемены. Аркадий смотрел на нее с грустью и симпатией. И однажды произнес:

- Ты не волнуйся, Люба, пойми, все-суета сует и томление духа. Давай я тебе почитаю Экклезиаста. По нему и будем жить. По-моему, это единственный способ жить в этом мире.

Глава четырнадцатая

Люба взахлеб редела и била Аркадия Ветхим Заветом по голове. Не желала она принимать Экклезиаста, не желала считать все суетой и томлением духа, не желала есть, пить и наслаждаться трудом своим и не ждать ничего хорошего от будущего.

- Лучше умереть, чем так жить! - всхлипывала она истерически.

- Правильно, мертвым лучше, чем живым, а всего лучше - еще не рожившимся. Но, Любушка, он же и говорит, что нужно делать то, что нравится, работать в свое удовольствие, потому что на том свете и этого не будет. А не нравится - не делай. Хочешь искать выхода из нашей беспроблемности - ищи себе на здоровье. Его песимизм очищает, дает силу жить, когда уже нечем, когда все тебя разочаровало. Как ты не понимаешь!

Но Люба не сдавалась.

- Значит то, что ты хотел революцию делать - тоже суета?

- Конечно. Сама говорила - бардак начнется. Начнется. И еще какой! И чем-то станет хуже. Ты посмотри, большинство ваших женщин живет здесь и радуется.

- Не это ужасно! На такой крови стоим, и никто об этом не догадывается!.. А их радость - тоже суета?

- Конечно.

- А наша любовь?

- А это, наверное, томление духа.

- Как ты можешь так говорить!

- Конечно, томление духа, и прекрасно, пусть томится, сколько влезет. Раз это дает нам радость. Не надо искать в этом чего-то большего. И вообще, всему свое время, время находить и время терять, время разрушать и время строить. Сейчас у тебя - время терять иллюзии, ну и теряй их. Искорвать только не надо. Помни, что все суета.

- Не ведь ужасные вещи творятся, ты подумай.

- И это суета. Жизнь, она вообще не слишком гуманна, и не надо от нее требовать того, чего она не может дать.

Все это Любу не удовлетворяло. Как выжилилась, она была человеком цели и теперь, когда цель эта разрушилась, не могла жить. Она еле ползала, но все-таки ползала упорно по улицам и все смотрела на женщин, ища в их глазах что-то, за что бы могла зацепиться. Но лица излучали довольство и снотость, и Люба скорбела о том, как не нужно им то, что она сейчас погибает от любви к человечеству. Человечество это несколько не волновало. Аркадием она

тяготилась: он был слишком беспечен на ее взгляд. Аркадия Люба тоже начала утомлять. Он пытался ее отвлечь, но не это ей сейчас требовалось. А подолгу кружить вокруг одного и того же он не любил. Аркадий понял, куда он попал и что с бухты-барахты ничего не изменишь, смирился, и захотел как-нибудь сносно существовать. Он от всего сердца жалел свою Любовь, но его раздражало, что она не может принимать вещи такими, какие они есть.

Он занялся квартирой, отделкой, стульями, сплел себе кресло-качалку, готовил Любе необычайные блюда и даже начал шить платья. Он был мастером на все руки.

Как-то раз днем, голый, как обычно, он навоощивал дома паркет и распевал во все глотку арию князя Игоря. В дверь условным звонком позвонила Люба. Аркадий мигом откинул замок и помчался назад к своему паркету, продолжая горланить арию, и даже не взглянул на входящую. А вошла Катерина. И тут же остолбенела. Аркадий, подняв голову, сперва даже не понял, в чем дело. А когда понял, голый живот его похолодел от ужаса. Они стояли друг против друга, оба равно пораженные. И когда взгляд Катерины стал озаряться догадкой, страх смерти толкнул Аркадия вперед. Бросившись на нее, он руками сдвинул горло и рот Катерины и грубо швырнул на диван, продолжая зажимать рот. Острая боль укуса повергла Аркадия в ярость и, навалившись всем телом на нее, разжимая кулаком ее зубы, он стал наотмашь хлестать по лицу. Из носа Катерины потекла струйка крови, от боли она застонала, а Аркадий, намотав на руку волосы, бия головой об угол дивана и вдруг, почувствовав во враге самку, с бешеным овладеи ею. Он давил нежную шею, кусал, рвал пальцами грубые соски и наслаждался ею так остро, как не наслаждался ни одной женщиной. Он стал зверем и, погружаясь в нее, пытался порвать лоно, изо всех сил щипал крепкий живот, до крови кусал ее плечи. А Катерина стонала уже от наслаждения и, прижавшись к нему, всасывала ртом коку его плеча.

Только через час Аркадий отпустил ее. Катерина встала, молча запахла халат и, подбирая растерзанные волосы,

медленно направилась к двери. На пороге она оглянулась, еще влажными от страсти глазами оцупала Аркадия с головы до пят и, закусив губу, вышла.

Аркадий пошел в ванную, смыл с себя кровь Катерины и повалился на кровать. Он ни о чем не думал. Ляба пришла поздно и Аркадий сделал вид, что спит.

Наутро в нем снова проснулся ужас. Он не мог двинуть ни рукой ни ногой и весь день лежал в кровати в ожидании. Он сам не знал, чего ждет.

На следующий день Катерина пришла к нему утром. В дверях впилась в него долгим и влажным поцелуем и, распахнув халат, всем своим телом вжалась в него. Он владел ею так же грубо. Она была комком какой-то удивительной плоти, и он с остерпенением вонзался в нее с разных сторон, и всякий раз встречало его сладчайшее, чмокающее лено и засасывало. А он с силой вырывался и всверливался в него снова и ничто в мире больше не существовало, кроме этого гибкого смуглого тела. А Катерина истекала, уронив с дивана черные волосы.

Клубок их тел распался только к вечеру от Лябиного свиста под окном и, слыша ее шустрые шаги по лестнице, Катерина, еще не очухавшись, зажав в руке халатик, вылетела в окошко. Взысленный Аркадий задвинул под шкаф ее забытые босоножки и открыл Лябе дверь.

- Ты что такой мокрый?

- Да так, решил заняться гимнастикой, - выдвинул Аркадий и, к потолку задрав плохо выбритый подбородок, вливая воду из графина себе в глотку и вода лилась на его плечи и мерно дергающийся кадык.

Ляба кляла Катерину за то, что та завалила ее работой, а Аркадий пил и пил воду и всеми фибрами души ненавидел Лябу, ее шаги, голос, короткие волосы, шею и детски-ясные глаза.

Дохась спать, он повернулся к ней спиной, и когда Ляба, расплывшись теплые груди о его лопатки, требовательно зацупала в ухо: - "Милый", вздрогнул от отвращения. Ляба, испугавшись, заплакала. В Аркадии шевельнулась со-

весть: "Бедная девочка, и так издергалась". Он обнял ее и успокаивал, глядя по голове. Теплые слезы капали ему на грудь, а перед глазами стоял напрягшийся живот Катерины в тот момент, когда она принимала его. И Аркадий, войдя в Любовь, целовал и ласкал ее, как родную дочь, а после, вспоминая закинутое ему на плечо бедро Катерины, чувствовал себя богом.

Глава пятнадцатая

Они стали встречаться у Катерины. Это было какое-то наваждение. Сжимая друг друга в объятиях каждый день с утра до вечера, оба никак не могли насытиться. Они обезумели от страсти. Но вечерам, кое-как расплетая Катерины руки, приходил домой. С Любовью он обращался обходительно-нежно. Нервы ее совсем развинтились, по ночам она плакала, предчувствуя что-то ужасное. Аркадий успокаивал Любовь терпеливо и ласково, утирал поцелуями слезы и замертво засыпал. По утрам просыпаясь, наскоро поглощал уйму еды и стрелой несся к Катерине. Он обожал ее всем существом, каждой клеточкой своего тела и, едва увидев, умирал от желания.

Аркадий была привычной двойная жизнь и он чувствовал себя, как рыба в воде. Но когда Катерина тоном, не допускающим возражений предложила ему покинуть Любовь и переселиться к ней, сердце его болезненно скалось. Что будет с ним, если откажется от этого предложения. Мелькнуло—Люба—Люба, как же Люба. Но он зажал в себе это. Он был болен любовью, и прекрасное тело Катерины было центром его вселенной.

Аркадий сидел, скланившись в комок, и мысленно впечатывал в сновашую туда-сюда Любовь четыре слова: "Я о т т е — б я у х о ж у". Но Люба была необычно весела и словоохотлива, не слыша, или не ведая слышать этих немелких слов.

Тогда он произнес их вслух, тихо-тихо, но ему показалось, что стены и окна зазвенели от звуков его голоса. Люба в этот момент включила воду на кухне, и звон прошел

мимо нее.

Аркадий, подойдя к двери, сказал:

- Люба, мне надо тебе сказать одну вещь.

Люба обернулась. Из глаз ее выглядывал страх и о чем-то молел.

- Люба, я от тебя уйду.

Страх Любы как рукой сняло. Она глядела на Аркадия внимательно и серьезно.

- Куда?

- Я уйду к Катерине. Мы полюбили друг друга, так получилось...

- Ты, наверное, шутишь, - просительно сказала Люба, отчетливо зная, что нет, не шутит. Но постичь этого еще не могла.

- Нет, не шучу. Я делаю ужасную вещь, я знаю, подле тебя оставаться, когда тебе так тяжело. Я не могу больше, пойми меня.

- Не понимаю.

- Не могу я с тобой больше. Ее люблю и уйду к ней. Не удерживай меня.

- Ты можешь уйти, куда хочешь. Ты совершенно свободен, только не понимаю я...

- Да я сам не понимаю. Помешался я от нее. Совсем ошалел.

- Аркадий, она ведь ужасная женщина. Не торопись.

- Замолчи! Как ты можешь так говорить! Она - прекрасная. Я никогда не встречал женщины прекрасней, понимаешь?

- Аркадий, а как же тогда я?

- Ну, подлец я, как хочешь понимай, только не могу я без нее.

Люба, наконец, поняла и горько заплакала. Слез Аркадий не выносил.

- Перестань, ну перестань сейчас же, пойми, мне хуже, чем тебе, подлец-то я, а не ты. Перестань.

Люба перестала. И вдруг, как откровение, произнесла:

- Аркадий, ведь ты идешь к ней, чтобы быть счастливым?

- Да.

- Но ты же знаешь, как мне без тебя будет скверно. И ты, зная это, сможешь быть счастливым?

- Не знаю, Люба, не знаю, не мучь меня. Ведь часто что-то делается за счет чего-то... Ну, не мучь, я и так знаю, что я сволочь.

Открыв дверь, он обернулся. Что-то было еще не сказано.

- Аркадий, милый, мы же были друзьями. Не забывай меня. Приходи, потом, не сразу, приходи просто в гости, навестить.

Сердце Аркадия вдруг оттаяло, он повалился Любе в ноги и заплакал.

- Любушка ты моя! Ты прекрасная женщина, чудесная, лучше не бывает, только не думай, что ты плохая. Ты - прекрасная. Это я - ни к черту. Прости меня. А я в подметки тебе не годюсь, родная моя, золотая. Спасибо тебе, я приду обязательно. И только сейчас не могу иначе. Прости меня.

Люба, плача, тоже опустилась на колени и гладила его волосы.

- Бедный ты мой, высох весь, не подлец ты никакой, не надо... Получилось так. Не кляни себя. Любовь моя.

А он глотал слезы и целовал-целовал ее стриженую голову, рот, брови, глаза и поклялся себе, что, конечно, обязательно вернется, что они чудесно и дружно жили. Потом встал и хлопнул носом. Она улыбнулась:

- Ну, иди. Ты подумай еще и приходи.

- Хорошо! - воскликнул он радостно.

Аркадий шел по улице, сердце его щемило от грусти, а на душе было несказанно, невероятно светло.

- Конечно, приду, - думал он, вспоминая Любу. Он медленно шел и поражался, какая у него очаровательная и нежная жена. Он словно омылся ее любовью и лаской. Затем перед ним всплыл крутой изгиб Катерининных бедер, в горле пересохло от внезапного желания. "Мулаточка моя! Лошадка породистая!" - вздохнул он мечтательно, представил себе, как языком и губами будет ласкать огрубевшие соски на

смуглых грудях Катерины и как будет опять и опять владеть ею, нет, не владеть, — и Аркадий со вкусом произнес нецензурное слово, столько раз писанное на заборах и в древних священных книгах, единственное слово, которое хоть как-то выражало сущность того, что он делал с Катериной.

Люба больше его никогда не увидела. Катерина вскоре вообразила Аркадия в себя, так как считала опасным его нахождение на свободе. И Аркадий с грустью подумал, что обрел свободу лишь для того, чтобы найти Катерину и через нее потерять свободу. Но вовсе не был этим несчастлив.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАСПУТЬЕ

Глава первая

Неуязвимая Марья на глазах становилась плаксою. Она плакала почти непрерывно с тех пор, как ее дочь Лена вступила в Общество Полного Искоренения Остатков Патриархата. Молодежное это общество исходило из противоестественности существования в одном теле двух противоположных начал: мужского и женского. Возникло оно совсем недавно и сразу заявило о себе внушительными демонстрациями под лозунгами: "Мы не позволим впредь трепать себе нервы!", "Женщины должны оплодотворяться искусственно!", "Для удовольствия мы придумаем что-нибудь другое!", "Все силы науки - на внеутробное выращивание детей!", "Долой патриархальные роды!", и т.д. Программа этого общества состояла из двух частей, которые вполне отражались этики лозунгами.

Марья находила само это общество дикостью, а факт его существования - чрезмерным либерализмом со стороны правительства. Со дня на день она ожидала запрещения общества и демонстраций и жила в постоянной тревоге за Лену.

Любу появление общества сперва удивило, но, когда обнаружила, что члены его не старше 21 года, развеселилась. По достижении этого возраста даже самые ярые активистки благополучно выйдут замуж и о лозунгах больше не вспомнят. Люба считала это вполне безобидным развлечением. Оно ей даже нравилось: хоть жизнь немножко оживилась. Правительство, по-видимому, было вполне согласно с Любой и не мешало молодежи развлекаться.

Но на Марью было жалко смотреть. Ее возмущало такое наплевательское отношение к наследиям матерей и бабушек. Она горько сетовала на современную молодежь, нарахающуюся то вправо, то влево и не желавшую уважать традиции. Танька-Встанька, пыталась ее утешить, изложила, с присущей ей

безаппеляционностью, свои, диаметрально противоположные, взгляды. Это добило Марию. Плакать она перестала, стала задумчива, грустна и считала, что все катится в тартарары. Она была очень разумной во всем, что касалось житейских проблем, но идейная ее убежденность была негибкой.

Люба пыталась внушить ей, что полезно иногда взглянуть на все с другой стороны, перестать, наконец, пробивать лбом стену, а посмотреть, не подвинулась ли за это время стена и не образовался ли рядом свободный проход. Она говорила, что дети имеют право взглянуть критически на то, в чему пришли их матери, объясняла, что иначе не существовал бы прогресс, приводила цитаты мудрых людей: "Усомнись хотя бы единожды в том, что дважды два — четыре." Но все ее слова для Марьи были как об стенку горох. Она заявила, что все ее дочери, и родная, и приемные, — ей враги. И села писать работу по педагогике. Во всем остальном отношения Марьи и дочерей были прекрасные.

Танька поражалась Мариному тугодумию.

— Она же видела гораздо больше, чем мы. На ее глазах было раскрыто столько заговоров, столько знакомых ее были законсервированы. Неужели она ни разу не задумалась, верна ли сама основа общества?

Но Люба хорошо помнила, сколько мучений стоила ей потеря иллюзий и как стали дергаться углы рта у юной Лидочки, которая с Любиной помощью поняла, что их общество не менее жестоко, чем любое другое.

— Нет, Ветанька, ты не права. Это очень тяжело — потерять стержень, на котором ты, пусть бессознательно, строила свою жизнь. Мне в 25 лет было жутко, а Марья столько лет прожила на этом. Ее можно понять. Представляешь, как страшно в конце жизни увидеть, что все, во что ты совершенно искренне вкладывала все свои силы — блеф. К тому же не все впустую: смотри, у нас теперь не земля, а сад. И она процека слова надоевшей патристической песни.

Таня даже поморщилась: всеми фибрами души она ненавидела все, на чем покоился их будущий Эдем.

У Таньки завелись новые подруги, симпатичные и образованные, с ними она часами обсуждала возможные и невозможные пути перестройки общества. Особого единодушия среди них не было, каждая предлагала и отстаивала с пеной у рта что-нибудь свое. Женщины они были умные, добрые, искренние, много и с пользой пережившие. Государственное переустройство считали смыслом своей жизни и во имя его готовы были пожертвовать жизнью.

Люба преклонялась перед ними, но решать будущее общества не бралась, потому что не знала как. Ей не нравилось отрицание всего того, что было достигнуто.

- Нельзя же так, - думала она, - несколько поколений трудилось, не покладая рук.

А труд человеческий Люба считала священным.

Она уже переболела острым чувством отчуждения от мира, охватившим ее после ухода Аркадия. Отчуждение это началось раньше, но Аркадий своим присутствием как-то привязывал ее к обществу, и она продолжала чувствовать себя его членом. Измена мужа подрубила ее под корень. Она ходила на работу и работала автоматически, ясно сознавая бессмысленность и даже вредность своей работы. Она не пролила ни единой слезинки, сперва ожидая прихода мужа: она считала противоестественным то, что они не вместе; потом, когда поняла, что он никогда не вернется, потому, что успела привыкнуть к тому, что его больше нет. Семейная жизнь стала казаться какими-то далеким, сказочным эпизодом, а иногда думалось, что это вообще померещилось, и Аркадий был плодом ее воображения.

Люба стала мягкой и доброй. И почти такой же методичной, как Вера. Еще раньше ей приходило в голову, что нынешняя Вера - будущая она, Люба. Мысль эта казалась ей настолько ужасной, что не хотелось жить. Теперь же, видя, что так, по-видимому, и будет, она находила это в порядке вещей и пыталась увлечься теми жизненными мелочами, какими жила большинство окружающих женщин. Иногда Люба вспоминала, что уже никогда-никогда не будет иметь детей, сердце ее сжималось от жалости к себе, и она старалась

думать о чем-нибудь другом. Так продолжалось полгода. Она чувствовала себя старухой и считала, что больше от жизни ей ждать нечего.

Глава вторая

Ляба беседовала с Верой о жизни, ее беспримечности и самоубийствах. Рассказала о Лене и своем сне, о матери, о том, как сама пыталась повеситься лет в 16, уже не помнит ясно из-за чего, и как после охлаждения к ней Катерины хотела разбиться о землю, но во время свободного падения ощутила такой душевный подъем, прелесть жизни и красоту своего несчастья, что тут же раздумала умирать и у верхушек деревьев повернула и вновь набрала высоту.

- Это несерьезно, - сказала Вера, - если человек серьезно понял, что не может жить, его уже ничем не убедишь.

Ляба возражала, говорила, что жизнь все равно сумеет показать свою красоту самому что ни на есть разочарованному человеку, потому что так уж она устроена. Вера обозвала ее безнадежной оптимисткой и сказала, что соловьи в клетках почему-то не поют, а орлы мрут с тоски.

- Ну, это в клетке, это совсем другое дело. Какая в клетке жизнь?

- Да, вот он и не может...

- Кто, он?

- Виталия, муж мой.

- А что с ним? Он что, с тоски умирает?

- Да. И не только с тоски. Как-то ночью он вскрыл себе вены. Я проснулась, а он - весь в крови. Я сразу же вобрала его в себя. Там-то рана не кровоточит. А вынуть - кровью истекает, и перевязывать себя не дает. Умирать хочет. Я его в себе ношу, не вынуждая, отключенно-го. Уже пять лет. Не создан он для такой жизни, ему престоер нужен, земля, он у меня с Востока, из Братьевска, учиться приехал, а тут - переворот. И его законсервировали. Все просил с ним домой слетать. Я ему объясняла, что Восток не наш, что у нас по границе - силовое поле, что его не перелететь. Он и слышать не хочет. Что делать

с ним — не знаю, включаю его время от времени, а он просит: "Выпусти меня и дай спокойно умереть."

— Вера жалобно, по-детски, скривила рот.

— Верочка, его можно освободить, я знаю как, это очень просто. Вы оба только должны очень этого захотеть. Нужно ему внушить, что он может встать и ходить совершенно самостоятельно. Точно, Вера, я так Аркадия отпустила.

— Этого не может быть! Покажи его.

— Нет его; ушел он, к Катерине, влюбился в нее.

— Господи, и как он, нормально ходил по улице?

— Совершенно нормально, платье наденет — и идет. Летал даже.

— Невероятно. И ел?

— Еще как! Как лошады!

— Не может быть, чтобы так легко. Расскажи подробно, как ты его выпустила.

— Ну как? Вакцину приготовила, нам и ему.

— Вакцина — ерунда.

— Теперь я знаю, у нас сперва и не получалось. Я на него разозлилась, думала, что он ленится. Обругала. Ветань, говори, и ходил. А он взял и пошел. Серьезно. А потом мы без уколов пробовали и получилось. Это очень просто.

— Расскажи еще раз, я его сейчас включаю.

Виталий долго не верил и требовал, чтобы ему показали освобожденного Аркадия.

— Ну, ушел он, другую полюбил и ушел, — уже устала объяснять Люба.

— Не мог он так уйти. Это не по-мужски. Никогда не поверю, чтобы мужчина был способен на такую подлость. Или это не человек.

— Да человек он, другую просто полюбил, справиться с собой не мог. Красивая она очень. И я держать не стала, не любит, так не любит. Человек он такой. Увлёкся.

Но прежде всего Виталия надо было вылечить, — кровь так и лилась из него. После работы они шли к Вере, Вера вынула Аркадия Виталия и сидела рядом, так как не могла отойти от него, а Люба перевязывала. Виталий был молодым

яноглазым богатырем, светловолосым и кудрявым.

- Как Иван-царевич, - думала Люба, перевязывая. - Конечн такой в клетке не может.

Они очень подружились. Когда-то Виталий и Вера были, видимо, великолепной парой, но за эти пять ужасных лет Вера поблекла и постарела, а Виталий, хотя и потерял много крови и был бледен так, что ущипнув его за щеку, на ней оставалось не красное пятно, а белое, остался таким, каким был. Правда Вера теперь мохолола на глазах. Она сидела, прижавшись к мужу и счастливо улыбалась, совсем как девочка, а замечая, что Люба на нее смотрит, сконфуженно прятала голову Виталию за плечо. Люба никогда раньше не видела мужчину и женщину рядом и поразилась, как это красиво. Виталий и Вера очень любили друг друга и смотреть на них стало для Любы ни с чем не сравнимой радостью.

Перевязав Виталия и поболтав с Верой, Люба уходила домой в свою одинокую постель, где, вспоминая Аркадия, начинала плакать. Промерзшее сердце ее оттаяло и от созерцания этих двух прекрасных людей, и слезы лились потоком, вымывая всю боль, стывшую в ней полгода.

Виталий торопил их:

- На свободе захвну скорее!

Он-то был полон решимости, так что дело было за Верой. А она все чего-то боялась. Так истосковалась по мужу за эти пять лет, что теперь оторваться от него не могла. Каково, в ней не осталось ни силы, ни воли, ничего. Во время его попыток подняться она плакала и говорила, что ей страшно.

Прошел месяц. Вера посвежела, морщины ее разгладились, а серые глаза засияли синевой.

- У меня раньше были синие глаза, - объясняла она, - синие-синие, как васильки. Поблекли за эти годы. Я каждую ночь плакала - вот, наверно, и выплакались.

Наконец, она решилась. Виталий давно выздоровел, но Вера все чего-то побаивалась и просила Любу присутствовать при освобождении мужа.

- А вдруг что-нибудь не получится, - говорила она, - я

тогда растеряюсь— и все. А ты меня морально поддержишь.

Вера выпустила Виталия и, вздохнув, сказала:

— Ну, давай.

Виталий спрыгнул с кровати на пол, сильными шагами прошел по комнате, подскоцил на месте, подбежал к окну, широко распахнул его и с радостным криком, как был голый, вылетел наружу.

— Лети за ним, Вера, одежду возьми, прикрой его чем-нибудь!

Вера молча качала головой, стоя у окна, слезы текли у нее по щекам, она улыбалась сквозь них и восхищенно твердила:

— Ты посмотри, ты только взгляни, как он летает, он же как... как бог!

Люба выволокла ее за руку на улицу. Виталий парил в вышине широко и красиво.

— Вера, лети за ним!

Но Вериной силы хватило лишь на то, чтоб выпустить мужа. Она сразу ослабела, точно им одним и держалась и могла только восхищенно твердить:

— Ты посмотри, как он летает, Люба!

Виталий с высоты спустился к ним. Глаза его горели, плечи расправились, он был удивительно, сказочно красив.

— Я хочу лететь на Восток,— заявил он. — Слетаю, посмотрю, как там, и вернусь.

— Не смей, там силовое поле, как стена, только прозрачная.

— Ну, коли я на свободу вышел, то и поле ваше как-нибудь одолею. Что там теперь на Востоке?

Обе пожали плечами. Связь с внешним миром оборвалась с тех пор, как была укреплена граница. Через силовое поле к ним ничто не проникало, даже ветер. Виталия это не смутило:

— Там разберемся,— беспечно сказал он, расцеловал Веру в обе щеки: "Не скучай!" — махнул на прощанье рукой, вальс-тел, опирав над ними круг и понесся на восток.

— Вера, лети за ним!

Но Вера по-прежнему качала головой. Она как-то вдруг стала меньше ростом, голова вжалась в плечи, шея исчезла, плечи казались тяжелыми, квадратными. А лицо было растерянным, жалобным и блаженным.

- Ты иди, Люба, домой, иди, - крото велела она и тяжело, как беременная, в в раскаряку ступая, медленно побре-ла к дому.

Сигнальных огней вдоль силового поля Виталий не заметил, или просто не понял, что они означают, и на всей скорости врезался в невидимую стену. Удар раскрыл ему череп, он потерял сознание и начал падать, но не долетев до земли, пришел в себя и рванулся туда, где восходило солнце. Стена опять отбросила его, ударив в грудь. Он понял, что не одо-леет ее так просто и замыл вверх, чтобы найти, когда она, наконец, кончится. Он задыхался, кровь заливала его лицо, он чувствовал, что вновь теряет сознание и принялся биться головой о стену, стучать в нее кулаками в бессильной ярос-ти. Он потерял сознание, с высоты впечатался в землю и больше уже не встал.

Тело его подобрала две молодые пограничницы, весело со-бравшие разбившихся о силовое поле птиц и землянику. Они страшно перепугались и сообщили властям. К ним сразу же прилетело пятеро. Эстограф сфотографировала труп, красивая черноволосая женщина в небрежно накинутом на голое тело халате, по-видимому, начальник, сосредоточенно рассказыва-ла из стороны в сторону, внимательно вглядываясь в обезо-браженное лицо Виталия. Молоденькая врачиха констатирова-ла смерть, а две здоровых мужеподобных девицы после всех необходимых процедур быстро похоронили его.

Пограничниц черноволосая начальница забрала с собой и больше их никто не видел. А газета "Новый Эдем" не сочла нужным сообщать об этом странном происшествии.

Глава третья

- Нет, что ни говори, по-дурачки наши мужья использова-ли свободу. Твоей- в другой женщине удрал, а мой- вообще неизвестно куда.

Вера прихлебывала из чашечки чай и куталась в старинную шаль. Было не так уж холодно, и шаль Вера носила, чтобы скрыть свою шестимесячную беременность. Беременности она стеснялась, считая себя непримично старой для такого молодого дела, но очень ей радовалась: у нее было предчувствие, что на этот раз она родит девочку. Вера пополнила, отпустила волосы, укладывала их пучком на затылке и мечтала отрастить косы. Подбородок ее отяжелел, лицо стало круглым и очень добрым.

Люба представила ее у камин, с вязаньем, среди бравых детей, ожидающую вечером мужа и подумала, что как раз для этого Вера и создана. А Виталий должен был ютаться по экспедициям, наредка навещая любимую жену. Картина вышла такой яркой, что Люба замурила глаза и, мечтательно жуя булку, наредила:

- А я уверена, что твой вернется, помотается и прилетит? куда денется?

- Считаю, что ты выпустила вольную птицу.

- Может и вернется... Родить бы девочку! А то у нас с ним за десять лет родилось три сына. Все в питомнике. Как младшего отравили, он и перерезал вены... А представляешь, что бы нагородили наши мужчины, если б их всех выпустили?

- Ну и пускай. Делали бы, что считали нужным, и прекрасно. Мучили бы нас - и слава богу, судьба, знать, такая. По-разному мы устроены, никогда не пойдем друг друга.

Люба с Верой сидели одни в лаборатории, гоняли чай и лениво перебрасывались словами.

- Не вернется он, Люба. Он несосторожный. Был бы жив, давно б вернулся.

- А кто его знает, Вера, вдруг у него получилось? Может, он там, в Братьевске, мужчин собирает, освободить нас идет.

- Ты - неисправимая оптимистка, Люба. А мне... Девочку бы только родить и больше ничего не надо. А ты помнишь, как он летал? Как сокол, верно? А твой как?

- Он, смешно! Он вообще был очень забавный. Боясь, что Катерина его исторгнет. Она ведь может любого мужчину во Дворце выбрать, когда ей вздумается. Вдруг он ей надоест? Раньше у него хоть преимущество было, что ходил сам. Теперь нет, конечно. Был бы на свободе, зашел бы, соскучился и зашел. А вообще, странно, что я когда-то была замужем. Не верится. Я ведь была тогда совсем другим человеком, даже стихи писала.

Люба залезла в свой стол и, порывшись в нем, вынула из глубины тщательно запрятанные листочки, пробежала глазами, засмеялась и протянула Вере:

- Хочешь почитать? Навские до чего! Умора!

Вера прочла, но не улыбнулась, а спросила:

- А ты больше ничего не писала?

- Нет, не тянуло как-то. А что?

- Да ничего, интересно. И стихи ничего. Что ж, что навские?

Они с наслаждением тянули чай. Вера донья и, задумчиво ковыряясь ложечкой в чайниках на дне своей чашки, тихо напевала что-то протяжное, старинное. Люба прислушалась и подтянула:

...О вник дник в краю родном,
Где я любил, где отчий дом...

Они пели тихо-тихо, так, что звенела тишина во время пауз. Показалось даже, что в самом деле где-то звучит этот прекрасный древний вечерний звон.

Песня кончилась и они долго молчали. Они часто теперь молчали вдвоем. Все было давно обговорено и беспресветно. Люба клала голову на плечо Веры, вбирала ее душевный настрой и оттого, что он был так близок ей, очищалась и набиралась сил для дальнейшей жизни. С Верой происходило то же самое.

- А знаешь, Вера, вот слушаешь древние песни и плакать хочется. Родное в них все. А никакого звона и в помине давно нет. А мы, наверное, остались самыми обыкновенными бабами. Вера улыбнулась.

- Люба, а ты не бойшься, что после освобождения мужики

наши пить начнут, драться и валяться пьяными на улице?

- Нет, Вера, пьют с тоски. Нужно, чтоб стремиться ближе к чему...

Вошла Лидочка и сказала, что прилетела Катерина и приглашает Лябу к себе. Сердце Лябы мгновенно упало: она ни разу не видела Катерину с тех пор, как ушел Аркадий.

Ляба шла за Лидочкой по коридору, четко ступая по половицам.

- Как на казнь,- усмехнулась она, мысленно увидев себя со стороны,- даже руки сзади слезила.

Она стала думать о Лидочке. Смешливая, умиенькая, с кощачьими повадками и очками на носу, Лидочка, у Лябы на глазах мучаясь, постигла неприглядную сущность их женского общества. Ляба присутствовала при ее прозрении. Лицо у Лидочки тогда очень побледнело и вытянулось, а левая его половина мелко, как при тике, задергалась. Особенно жалостно дрожал уголок рта. Через два дня осунувшаяся Лидочка, подойдя к Лябе, сказала, что она- обыкновенная девушка, она хочет работать, завести мужа и родить ребеночка. И жить хочет спокойно и нормально, а негуманность общественного строя, не-видимому, закон жизни. С тех пор Лидочка стала избегать Лябу, а затем Катерина вызвала ее во Дворец и сделала своим секретарем.

Катерина сидела за столом, обложившись папками с делами, Лябе кивнула и предложила стул. Ляба отметила, что она по-прежнему красивая, и старалась не думать о том, в ней ли сейчас Аркадий и видит ли он ее, Лябу.

- Ты можешь выбрать себе нового мужа,- начала после паузы Катерина,- прежний исторгнут тобой вполне официально, в документах значится именно так. С тех пор прошел год, и ты можешь взять себе мужа, не проходя новую комиссию. Вот акт, подними его задним числом.

Она протянула Лябе бумагу, и Ляба машинально прочла:

"Акт об исторжении мужа Аркадия Любовью Кашеевой."

Страшная злоба, обида нахлынули вдруг на Лябу, ей захотелось закричать, швырнуть чем-нибудь в это участливое лицо. Она с трудом сдержалась и сказала, стараясь, чтоб го-

дос ее не звучал оскорбление:

- Не понимаю, откуда взялась эта бумага? Я и не думала исторгать своего мужа. Он у меня внутри, вот здесь, - она показала на сердце. - И никакой другой муж мне не нужен. Ляба отодвинула бумагу, встала и направилась к двери.

- Чудачка! Мы же добра тебе хотим! Неужели ты не понимаешь, что при желании я могу...

- Что можешь?

- Ты достаточно осведомлена, чтобы понять, что.

- Хуже, чем есть, ты не сделаешь. Терять мне нечего, потому что самое дорогое я уже потеряла. Ничего ты не можешь.

Закрывая дверь, Ляба расслышала слова Катерины:

- И почему это у них у всех такие глаза?

Ляба быстро шла по улице, и мелкие снежинки остро и больно сажли ее лицо. Ее приводило в бешенство, что Катерина ей угрожала. В ушах вдруг зазвенело Катино "мы", и она даже остановилась от ужаса. Ведь "мы" - это Катя с Аркадием! Ляба в голос заревела прямо на улице и вдруг услышала чей-то знакомый голос:

- Ну что ты! Нельзя так.

Перед ней стояла женщина, Ляба ее где-то видела, но не помнила, где. Она попыталась в ответ улыбнуться, беспомощно махнула рукой и побежала к дому.. На полдороге Ляба вспомнила, где видела эту женщину - во сне, припомнила и ее всепожирающую улыбку: "Что, чудеса творятся?", - она обернулась, хотела спросить, откуда эта женщина ее знает, но та уже исчезла.

- Нет, надо было согласиться, выбрать себе сильного и смелого мужчину и сразу его освободить. Дура я - дура... А потом сказать, что истергла, кто усомнится, во мне-то его нет, никаким аппаратом не нащупаешь, и- нового. А потом-опять...

Подсчитав, что за десять лет больше десяти мужчин освободить все равно не удастся, а это так мало для... /Ляба сама точно не знала, для чего/, она перестала об этом думать. И вспомнила вдруг, как Катерина когда-то

просила пятерых новобранцев вернуть в музей Аркадия 1-го и предлагала взамен мужа-киноактера и что заявила Людмила-Стрекова. Люба ясно представила себе всю ситуацию и поняла, что зря она тогда боялась: ведь пропала Аркадия 1-го была только предлогом, а суть была в Людмилкином муже, но всей вероятности, недавно законсервированного, и как-то по ошибке попавшим в Салон Кандидатов. До чего все-таки умна Катерина! Как по нотам...

Люба пришла домой, села за стол и стала отвлеченно размышлять, как они, красивые девушки, живут одни-одинешеньки и никто им не поможет. Она решила, что из этого могла бы получиться сказка, достала лист бумаги и написала: "В некотором царстве, в некотором государстве...", и задумалась о том, как могло получиться, чтобы красивые девушки в дремучем лесу одни очутились. Все вдруг осенило, она стала лихорадочно писать и к утру написала сказку.

Сказка вышла странная. Чего там только не было: и сивый царь-отец множества дочерей, и разбойники, и баба-Яга со своей дочкой-Ведьмочкой и благородный Найденыш, попавший к ведьмочке в плен, и как выручила его невеста Мечта-Синеглазка...

Глава четвертая

Люба писала сказку с наслаждением. К утру она устала и изможденная свалилась на постель, не в силах понять, что же она написала. Она мгновенно куда-то провалилась, а когда открыла глаза, на ее столе сидела Танька в расстегнутом долушубке и сбившемся на бок красном платке. Танька расчесывала пятерней пушистые каштановые волосы снизу вверх и с заметным любопытством читала сказку. Дочитав, усмехнулась и перевела взгляд с произведения на автора.

- Ну как тебе, Тань?

- А ничего! Интересно. Очень мне тут твоя Дочка-ведьмочка понравилась.

Таня сделала томную гримасу и запела, смешно разыгрывая сцену обольщения Найденыша в саду:

Косы черр-ные, очи стрра-стные,
Дочка-Ведьмочка пра-спра-кпра-сная!

Э-эх!

Она сорвала с плеч полушубок и затрясла плечами. Потом хихивнула, вымахнула красным платком и, подбоченясь, провозгласила:

Уж засияло

одеяло,

А Дочке-Ведьмочке

все мало!

Когда Таньке надоело издеваться над Дочкой-Ведьмочкой, она встала в позу оратора и, призывая воображаемую аудиторию к порядку, откашлявшись, начала:

- Вы что же это, Любовь Кацеева, антигосударственную пропаганду разводите? То, что ваши красивые девицы, оставшись в одиночестве носа не вешают, хлеб едят и полотно ткут, это похвально, но скажите, почему они поют печальные песни о разных там добрых мелодцах? Радоваться должны, новую жизнь строить! Единственное положительное здесь лицо - Дочка-Ведьмочка. Та же сила духа, та же безграничная преданность великой идее консервирования, поданная под видом обращения в камень. Но какова же главная мысль этой сказки? В заключение автор недвусмысленно оставляет героиню - Ведьмочку, престите, с носом и позволяет идейной вдохновительнице мужельбок одержать победу. И это в то время, как наши женщины, полные оптимизма и радости, продолжают укреплять и совершенствовать будущий Эдем, с таким трудом завоеванный их предшественницами. Нет, мы не позволим надругаться над самым святым, что у нас есть, неизвестно откуда взявшейся Любе Кацеевой. Законсервировать ее! Я думаю, все наши сестры меня поддержат.

Танька вытерла со лба воображаемый пот, поклонилась, поблагодарила аудиторию за внимание и со смешком позернулась к Любе: "Ну как?"

- Что ты, Тань, это же совершенно безобидная вещь, я ее так просто написала, потому что грустно было. И вообще,

это даже не я, она как-то сама написалась, понимаешь?

- Это вы, Любовь Кащеева, в каком-нибудь другом месте на Госнода-Бога пенять будете... - Таньке вдруг надоело дурачиться и она продолжала уже совершенно серьезно:

- А ты что, думаешь, такими речами клеймят только всерьез антидемократические вещи? Да они ничуть не менее безобидны, чем твоя сказочка. Просто если бы все печатали, масса женщин давно бы усомнилась, правильно ли то, чем нас пичкают с самого рождения. И глядишь, какой-нибудь переворот совершили бы.

- Но ведь старшие, давнишние книги давят читать. Это ведь все можно почерпнуть и из них. Путем аналогии, что ли.

- Ну, до аналогии не каждый додумается. Да и кто вообще их читает? А если и читают, то воспринимают как что-то отвлеченное. И вообще, у хороших писателей жизнь, как правило, печальна, несправедлива.

- Да, грустненько.

- Еще как! И вообще, Любовь, ты бы писала лучше, чем своей пряжкой на работе маяться. Изучила бы литературу как следует, статейки бы писала, а для себя - сказочки. Черт с ним, что печатать не будут, друзьям бы читала. А то работаешь в самом что ни на есть гнусном учреждении да еще делаешь там чего-то... В упор не понимаю...

- Ой, много я там делаю, не смейши. А знаешь, что я ощущала, когда эту сказку писала: что это и есть мое дело, и о е, понимаешь, а что на работе - не то, даже если и интересно...

- Вот я и говорю.

- Нет, ты не понимаешь. Так и в э т о м - совершенно свободна, а если я куда-нибудь перейду... А вообще, думать надо.

- Ну, давай думай... А знаешь, Ляба, мы, наверное, это скоро сделаем.

- Что?

- Переворот. Сколько можно языком трепать! За дело пора.

- Таня, да ты людей-то видела? Ты что, думаешь, им это

нужно?

- Ну, если бы всегда на всех оглядывались, история бы на месте топталась.

- А ты представляешь, сколько кровищи опять будет?

- Никакой кровищи не будет. Мы просто захватим Дворец и пульт управления границами, возьмем власть. А потом объясним женщинам, что и как. И пусть они своих мужей освободят, тут ты нам поможешь. Мальчиков и девочек будем учить вместе и постепенно освобождать законсервированных мужчин и женщин, лечить. Так что будет у тебя масса работы и по специальности и по душе, не волнуйся.

- Не знаю, Тань, по-моему надо, чтобы люди были готовы, хоть немножко. Вас ведь толпа фанатичек растерзает типа Марья. Переворот должен сперва в воздухе носиться, понимашь, и тогда из-за любого ерундового повода произойдет сак.

- Ну, это, Ляба, мистика какая-то. И потом, не выйдет-так не выйдет, люди хоть об этом узнают, кое-кто задумается и, глядишь, в нашем полку пребудет. Да и терять-то, в общем, нечего.

- А как же дочка твоя?

- А что, дочка? Я ее и так не вижу совсем. Набегами только. Не могу я все время с ней. Надоедает. Прекрасно проживет без меня. В Марьином пансионе ей живется великолепно... Знаешь, я ее видела на днях, их Марья ради эксперимента с мальчишками играть вынуждает, чтобы с детства сволочную и чуждую их природу продемонстрировать. И вот, вылезит она из кустов, растерзанная вся, худющая, испаранная и рассказывает: "А мы с мальчишками в войну играли, они поймали меня и пытали крапивой по ногам. А я не плакала, только говорила им: подумаетесь, дураки, все равно вас скоро законсервируют." - Маленькая, а себеобразует. В героини себя готовит. Умора... Нет, Ляба, надо. Надо-надо. А то что это? Раньше и корабли плавали, и в космос летали, и города были пышные, и храмы, и князья. Вот так-то. И у нас будут свои князья.

Таня махнула полушубок и прошла по комнате. Она задумалась, потом взрекла, как швырнула:

- А то все равны и все одинаково серые.

- Да брось ты, Тань, зато у нас бедных-голодных нет и все при деле, даже правительство нормальной работой занимается. Странно, что мы не знаем, кто они. Раньше их всяческим почетом окружали, а теперь засекретили. Странно, да?

- Хоть в чем-то поумнели. И не так уж хорошо, что у нас все работает. Некоторые женщины созданы специально для семьи, на воспитателями, чужих детей нянчить, а своих и быть просто женами, а некоторые - чтоб красоваться. И ничего в этом плохого нет. Как созданы... А все-таки, серый у нас народ. И мы тоже.

- Это точно. Знаешь, Таня, чего я боюсь: все равно все цивилизации так или иначе гибнут. Неверное, закон такой. Ну и бог с ним, в конце концов, и люди стареют и умирают, ничего с этим не поделаешь. Так после цивилизаций остается хоть культура, памятники, открытия, все, что там люди смогли создать. А мы после себя что оставим? Неужели останемся только как наглядание потомкам, чего нельзя делать?

- А я про что? Хватит уж быть нагляданием.

- Не знаю. Наверное, ты права.

Глава пятая

Вера родила сына. Они с Любовью долго его рассматривали, размышляя, на кого он похож. Судить об этом пока было трудно, но разрез глаз явно был от Виталия, а цвет - синий-синий - от Веры. Не-писанному красивая Вера прижимала к груди красный морщинистый комочек и приговаривала:

- И тебя, синеглазенький, маленький мой Виталик, и тебя...

Через две недели сына у нее забрали, как и положено. Всегда сдержанная Вера тихо и протяжно орала, намертво прижав к себе ребенка, медленно пятясь от вошедших женщин в дальний угол комнаты. Ребенок тоже тихонечко пищал. Две по-мужицки здоревые бабы спокойно разжали ей руки, отдали мальчика хорошенькой нянечке, тут же с ним умчав-

шейся, и непробиваемо-профессионально держали верную и кусающуюся Веру. Люба попыталась вмешаться, но ее мгновенно мастерски отшвырнули. Через полчаса отпустили уже полуобморочную мать и вышли. Никаких чувств на их лицах не отразилось.

- Они привыкли, - думала Люба, оглаживая сквашеную в клубок, застывшую Веру и вспоминала кадры из кинохроник, где матери, гордые чувством исполненного долга, сами сдавали младенцев очаровательным нянечкам. Люба молча глотала слезы и гладила, гладила Верину сгорбленную спину:

- Ничего, Верочка, ничего...

Больше Вера не работала. Она сблизилась с Танькой-Встанькой и ее подругами, проводила с ними целые дни, иногда заглядывала к Любе, работающей теперь за двоих. Глаза Веры ввалились, черты лица стали острыми, она много курила.

- Ну все, Любовь моя, - заявила она как-то вечером, зайдя в лабораторию. - Завтра! Завтра ты о нас услышишь. На Дворец идем.

- Вера, а я?

- Ты нам потом пригодилась. Да и всякое может случиться. Должен кто-то и людям о нас рассказать. Хотя должно получиться, до мелочей все продумано. Ты не грусти. Мне-то все равно помирать. Ничего у меня здесь больше не осталось. Только ты. А ты уж давно взрослая.

- Вера, а я?

- Ты еще помучаешься. Тебе нужно. Серьезно. А как ты думаешь, выйдет у нас что-нибудь или нет?

- Не знаю, Вер.

- Мне, почему-то, все равно.

- Вера, нельзя так, нужно идти и точно знать, что получится. Иначе бессмысленно!

- Может, и бессмысленно. А я не могу больше. Пора-пора. Прощай, Любовь моя, прощай-прощай.

Они приближались к Верину дому. Вера шла, чуть пританцовывая. Совсем чуть-чуть, но Люба поняла, что это

танец. И пыталась разобрать его мелодию по Вериним шагам. У порога Вера обернулась, тряхнула короткими кудрями и улыбнулась открыто, по-девчоночь, как только она одна и умела.

- Ну все, Люба,- она усмехнулась и процитировала:
Прощай же навсегда, навеки, Кассий,
И если встретимся, то улыбнемся, а нет -
Так мы расстались хорошо.

А Люба, выщипывавшая каждую черточку ее лица, завитки волос, а главное- глаза, серые, бездонные, ответила в тон ей:

Прощай же навсегда, навеки, Брут,
И если встретимся, то улыбнемся, а нет -
Так мы расстались хорошо.

И взгляд, навеки запечатляющий каждую волосинку выгну-
тых бровей, Верино- "Ладно, хватит", - и молодые ее шаги
по лестнице, и гулкий звук захлопывавшейся двери. Раз -
и все.

Люба тихо брела по улице. Домой. Внутри ее что-то мелко дрожало и плакало. Она видела Веру того вечера, когда они подружились. Вымахнув рукой, Вера задрала нос, навидательное-шутя погрозила Любе пальцем, осветила темноту своей улыбкой и исчезла за углом. Картина была такая отчет-
ливая, что Люба возмущалась, нет, конечно, Вера не умрет,
никто не умрет и все прекрасно получится, все же чудесно,
до мелочей продумано,- внушала она себе, а в сердце за-
стыли напряжение и страх.

Дома у нее была Танька. Она нервно расхаживала из угла
в угол и держала в руке два конверта.

- Ну, наконец-то. Сколько шляться можно, я и на работу
тебе звонила... Знаешь уже? Вера сказала?

- Таня, а я? Может, и мне?

- Не говори глупостей. Этот конверт отдашь Марье, ес-
ли... Ну, если не получится. Скажешь ей, что я ее люблю.
Любим. А здесь - подробнейший план операции и наша про-
грамма. На всякий случай. На память потомкам. Мы все идём,

кому-то надо и остаться. Если что — ты нам очень понадобишься. Вообще, все ясно. Я пошла.

— Тань, посиди со мной.

— Некогда. И потом, мне надо выспаться, я две ночи не спала, а завтра столько дел. Все нормально, сестренка, Люба-баша-двойняша. Держи хвостиком. Завтра о нас обязательно что-нибудь услышишь. Чудесно-то как, Люба, я уж ис-томилась, думала не доживу. Слава богу. Ну, я бегу.

Таня хранико поцеловала Любу в правую бровь и щеки, а та уткнула ей голову в плечо и вдыхала, вдыхала в себя ее родной запах.

— Ну все, бегу, — и Таня зубарем скатилась с лестницы.

Глава шестая

Люба сидела на кровати и внимательно изучала оставленный Таней план Дворца Любви, схему его автоматки и охраны. Все было действительно прекрасно продумано.

— Молодцы, — решила Люба, — должно получиться. Разве что-нибудь непредвиденное, случайность какая...

В час ночи телефон заиграл что-то отрывистое. Люба вздрогнула, подскочила к телефону и, услышав в нем приглушенный голос Аркадия, села.

— Люба, это я, у меня пара минут. О заговоре все известно, стукачка у них была. Дворец оцеплен, пульт управления тоже. Вено? Скажи им, чтоб отменили, ничего не выйдет, их мгновенно усынят и закирпачивают. Суда не будет, ничего не будет, слышишь? Ты-то как, родная моя?

— Да ничего, милый, откуда ты?

— Откуда, откуда, — из кровати. Я теперь Катеринин раб, она только что отрубилась, первые две минуты ее из пушки не разбудишь, я проверял. Вчера еще хотел, до телефона не дотянулся. У них тут все гораздо хуже, чем ты думаешь. Муть. Катя ведь — член правительства, другие — еще хуже. Я люблю тебя, Любушка, слышишь?

— Аркадий, освобождайся, ты ведь помнишь, как.

— Никак, пробовал уже. Тебя мне не хватает. Истергнет она меня скоро, сердце чует, я же не вечный двигатель, ну

все, прощай.

Аркадий резко повесил трубку, а Ляба стала звонить Тане. Таньке подошла не сразу.

- Ну, что тебе? Может, последнюю ночь сплю.

- Тань, мне звонил Аркадий, им все известно, понимаешь?

- Прилетай ко мне. Быстро.

Ляба, не отываясь, помчалась к Тани по ночному небу.

Оконко у Тани было раскрыто, и Ляба ввалилась прямо в него.

- Поздно, — нахмурившись борзотала Таня, — большинство уже там, остальные — кто где... Слишком детально все пропумано...

- Неужели совсем никак?

- Никак. Вера уже вылетела... Разве что... но это только пятерых... Да они и не захотят...

- Ну все равно, хоть пятерых.

- Вряд ли. Но я попробую. Кто бы это мог быть?... Вчера, говоришь? Вчера только срок назначили, вечером. Прямо, значит, к Катерине. Он не говорил, кто?

- Нет.

- А, ладно, не буду думать. Противно. Пошли, погуляем, у меня сорок минут есть.

Они летели над спящим городом, ночь была свежая, звездная, и нагло торчал в небе новорожденный месяц, лихо воткнувшись в него своими рожками.

- Аркадий твой ничего, — сказала Таня, когда они опустились около парка, — ничего. Это, наверное, хорошо знать, что ты любила порядочного человека.

- Ага.

- Мой-то, Сережка, сволочь был. Так поверну, эдак, все равно сволочь. Обидно. А ведь не удалась моя жизнь, картину я так и не написала, наброски одни, муж-сволочь был, и никто не узнает, что мы хотели сделать. Люди-то все какие, умницы, красавицы, образованные, личности. Жалко. И таких никогда не будет, все единственные. Ты там возьми у меня портреты их карандашные, просто так... Дочка вот осталась, Галочка. Она меня, небось, и не запомнит. Хотя, четыре года... Я ее навещала сегодня, и знаешь, что

она мне выдала: "Почему у бабы Марьи волосики беленькие, у тети Лены - беленькие, и у меня беленькие, и у Наташи Мигалкиной тоже, а у мамы - темные, темные, некрасивые?" Вреднога, да? Я даже обидлась. Она меня, вообще, любит... Ты Расскажи ей про меня.

- Таня, я полечу с тобой.

- Вот уж нет. Теперь уж совсем нет. Хватит с них и нас. Ты права была, наверное. Надо, чтобы в воздухе носилось, чтобы все чувствовали, что носится, черт возьми, носится. И никакие стукачки тогда бы не помешали. И все-таки, кто бы это мог быть? Девченки-то все чудесные. И зачем это? - Капать. Мэпонятно. А эти дрыхнут себе и ничего-то не знают, - она указала на безжизненно-темные окна домов.

- Эй вы! - вдруг громко, во весь голос закричала она. - Эй! Не спите! Завтра мы умрем за вас! Слышите?! Сегодня ночью! Не будет у вас Эдема! Слышите, олухи?! Сегодня погибнут наши лучшие женщины!!!

Голос Тани дребнелся о стены спящих домов и глухо гудел, когда Таня умолкла:

- Лучшие-лучшие-лучшие.

Ничто не шелохнулось.

- Идиоты! Дрыхалки! - вновь заорала Таня, срывая голос.

Где-то заплакал ребенок, и рассержанная женщина в бигудях высунулась из окна:

- Чего, дура, орешь? Напилась и помахивай! Дочку вон разбудила.

Она продолжала их частить, когда Люба с Таней скрылись за угол дома.

- Таня, почему ты так? Ты ведь хотела предупредить тех пятерых. Вас уже шестеро будет, я седьмая, еще люди будут, можно опять будет попробовать. Наверняка уже.

- Чудачка, нуужели ты думаешь, что если мы улизнем, нас не поймают? Им же известно все.

- Ну скроешься где-нибудь. Или дома арестуют, по-человечески хоть, и суд, может, будет.

- Ладно, если смотеемся, я днем звоню тебе на работу. "Шествие на казнь" из "Фантастической" Берлиоза помнишь?

Им и позвоню. Трубку не бери, иди домой, открой окошко и хди нас. А если нет — ну, значит — нет. И все-таки, мне кажется, что я не умру. Ненормально это как-то. Быто того не может, верно?

Люба согласилась:

— Конечно, не может.

— Ну все, счастливо, малышочка моя. Ади звенка. — И Таня улетела. Она ни разу не оглянулась.

Всю ночь Люба молилась Богу. Ей странно хотелось, чтобы Бог существовал и спас всех, о ком она просила.

Следующий день Люба провела у радио и телефона. Радио без умолку трещало о подготовке к празднику Начала Переворота, а телефон не издавал ни звука. К вечеру появилась Катерина. Люба впиалась в нее вопрошительным взглядом, но лицо Катерины было лишь чуть более хмурим, чем обычно. Не глядя на Любу, она отрывисто произнесла:

— Руководить лабораторией будешь теперь ты.

А на удивленное чье-то — "Почему?", так же отрывисто объявила, что Вера отныне работает во Дворце. И вышла.

В ушах к Любы зазвенело, перед глазами замелькали зеленые рваные пятна, она почувствовала, что падает, махнула стул и мешком свалилась на него. Телефон не зазвонил. Любу мутило и рвало. Она тащилась домой и останавливалась у каждой урны. Дома она открыла окно и ночь у него просидела, прижав к животу безмолствующий телефон. Утром, в лаборатории она опять впиалила глаза в телефон и ничего, кроме него, не видела. Вечером, войдя в пустую квартиру с распахнутыми настежь окнами, взяла оставленный Таней конверт, с трудом дошла до Марьиного дома, опустила в почтовый ящик письмо от Тани, немного постояла у двери, держась о стену, кое-как оторвалась от нее и пошла домой. Солнце садилось, огненное и жирно-красное, а над улицей висели гирлянды из пунцовых тюльпанов.

— По Таниному эскизу, — вспомнила она.

Ауди были озабоченно-веселы: готовились к празднику Начала Переворота. И еще Люба вспомнила, что завтра, 1-го

ции, на консервацию отправят старшего сына Веры и Виталия. Перед глазами ее Таня, спустив с плеч полушубок, лихо отплясывала цыганочку, а когда она все-таки допозела домой и мигом легла на постель, совершенно явственно услышала смех Веры и ее задумчивый голос, читающий стихи:

Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней не наде света.

Глава седьмая

Солнце приветливо серебрилось сквозь плотную шкуру и грело мягко и дружелюбно. Ляба сидела на скамейке, запрокинув голову на спинку, растянув вдоль нее руки, и впитывала ласкающие солнечные лучи. Сегодня утром она не пошла на работу, собиралась зайти к Марье в больницу, но все сидела и грелась на солнышке, не в силах покинуть эту замечательную скамейку. Тем более, что котенок так и не спустился с дерева. Котенок был необычайного, почти розового цвета, но вовсе не сиамский, а пушистый, с белыми лапками, зелеными глазами и горизонтально лежащими ушками. Он самозабвенно резвился около скамейки, катаясь клубком по траве и пытаясь поймать собственный хвостик, когда подошла Ляба. Увидев ее, он застеснялся своей молодой резвости, не-взрослому выгнув спину, резкими скачками запрыгал куда-то вбок, наткнулся на розовеющую рябину и, не долго думая, залез на нее. Слезать он, не-видимому, боялся, но делал вид, что не хочет, и удобно прикрютившись в развилке ветвей — тщательно умывался.

— Слезет или не слезет? — лениво наблюдала за ним разомлевшая Ляба из-под зажмуренных век и размышляла о том, что хорошо бы забрать этого котенка домой вместе с Танькиной Галочкой. Потом подумала, что у такого красивого котенка, конечно, есть хозяин, возможно, маленькая девочка, представила, как горько будет эта девочка плакать по своей кошечке, пожалела воображаемую девочку и решила котенка не брать.

— Так слезешь ты или не слезешь? — спросила она котенка.

и, услышав, как жалобно тот замыкал, отлепилась с трудом от скамейки и сняла с дерева пушистый комочек.

- Ну, играй! - велела она ему, спустив на землю. И котенок, изображая страшного хищника, тихо подкрался к травинке и, выждав момент, бросился на нее.

После Таниного письма глаза у Марьи закрылись и, как она ни старалась, больше не открывались. Под руку, как слепую, Люба отвела ее в больницу. Заболевание оказалось нервным, положили Марью в ту же больницу, где лежала когда-то ее родная дочь, Лена. Правда, в другое отделение. Вместе с интересными интеллигентными женщинами, лечившими там истощенные нервы, Марья отдыхала там, как в доме отдыха.

Сегодня Люба решила попросить Марью отпустить из своего пансиона Галочку жить к ней.

- Галочка будет моей дочкой, - мечтала она, подойдя к тонкой высокой стенке, ограждавшей тенистый сад больницы.

- Марья, это к тебе, - раздался голос из глубины сада и довольно скоро Марья вынырнула из-под тронутой желтизной березки. Она уверенно шла по дорожке, время от времени постукивая по ней палочкой.

- Марья, я здесь!

Марья повернула к ней напряженное слепое лицо и оперлась рукой о сетку.

- Как ты живешь, Марья?

- Прекрасно. Меня одна женщина учит играть на гитаре. Пальцы только болят с непривычки. А азбуку слепых я освоила. Читаю. Принеси мне книжку поинтереснее. А ты как? Почему не на работе?

- Да не горит. Знаешь, я хотела попросить у тебя Галочку из пансиона. Можно я удочерю ее?

Марья задумалась. Потом ответила:

- Да, уж из тебя мать... Еще похуже Тани будешь. Вам бы только в игрушки играть. Одна доигралась.

Марья все не могла простить Тани того, что та погибла так глупо и неправильно.

- Что ты, Марья, это же был подвиг, как ты не понимаешь.

- Какой подвиг... Вот, все не пойму, в кого вы такими чудами выросли. В отца, не иначе. А способными были. У тебя же великолепная специальность, и начинала ты хорошо. А теперь... Одно слово, дура.

- Марья, это ужасная, чудовищная специальность. На ней и держится наше паршивое общество.

- И что оно вам сделало? Внушило, выкормило... И ты хочешь, чтобы я тебе отдала воспитывать Галочку? Чему ты ее научишь? Подумать страшно.

- Думать я буду ее учить, думать, а не повторять, как попугай, равные глупости.

- Вот что, калечить ребенка я тебе не дам. Хватит с меня. А ты займись, наконец, работой, выбери нового мужа и рожай своих.

- Но Марья, я не могу, ты же знаешь, что не могу.

- Не приходи больше ко мне. Я тут лечусь, отдыхаю, а ты меня только расстраиваешь. Лена будет меня навещать, она, кажется, за ум взялась. А врачей я попрошу, чтоб больше тебя не пускали. Мы - враги, понимаешь, враги. Не ходи сюда!

Марья круто повернулась и, сердито стуча палкой, презрительно пошла по дорожке, непримиримая, упрямая, и слепая.

Люба вспомнила Ленку-Тряпичицу, как та, уйдя из своего общества, стала хорошо учиться, и как презирает она теперь Любу за то, что та не делает карьеру. Ленка считала Любу неисправимой дурой.

- Наверное, я и в самом деле дура, - размышляла Люба, - только что же я могу сделать?

Возле здания института она опять села на скамейку. Греться на солнышке стало любимым занятием Любы. Она решила припомнить приснившийся сегодня сон. Кажется, ей опять снилась незнакомка. Она вспомнила, что за счастливое было время, когда эта женщина приснилась ей в первый раз.. И сколько всего с тех пор произошло. А всего-то два с небольшим года прошло с тех пор, как она в первый раз говорила с Верой. "Время находить и время терять".

- Нет, не может такого быть, чтобы совсем зря. Это ведь

такое несчастье, весь воздух должен им пропитаться!

Она мысленно увидела новый танец Длинноногой Светланы. В нем явно сквозило отчаянье.

- Вот, и она его чувствует. Нет, не зря.

И тут же явственно услышала голос Аркадия: И это суета.

Почему я слышу его голос? Его что, тоже больше нет? - последнее время она частенько слышала голоса то Тани, то Веры. А как-то раз - Виталия:

- И хочу слетать на Восток.

- Какие они все были милые люди! И Аркадий мой тоже чудесный. Интересно, истергла его Катерина или нет?

И решив, что, наверное, да, не почувствовала при этом никакой горечи. Она смирилась с этой мыслью.

- Все души милых - на высоких звездах.

Как хорошо, что некого терять -

И можно плакать. -

влезли ей в голову строки. И она стала думать о великой и мудрой женщине, потерявшей всех родных и друзей, и как она после этого жила и творила. И в который раз поразились ее мужеству.

Вдруг в голове ее возникла старинная картина с витязем у того самого камня на скрещении дорог. Камень этот вставал перед всеми царевичами, отправляющимися в походы Мар-Птицы. И перед этим камнем стояла сейчас она.

- Направо пойдешь - себя потеряешь, а жизнь проживешь. И увидела обнаженную Катерину, несущуюся туда, увлекая за собой длинные черные волосы. Увидела, как испугалась Лидочка, взглянув налево, и как она направилась велед за Катериной. Как Марья, не дойдя до камня, закрыла глаза и, не заметив его, пошла по хорошо утоптанной дороге, сердито постукивая по ней палочкой. Как Лена презрительно прочтала надпись на камне и так же посмотрев на Лябу, быстро двинулась велед за Марьей. И огромную толпу женщин, шедших туда просто потому, что туда идут все.

- Налево пойдешь - совсем пропадешь.

Ляба услышала мелодию шагов идущей туда Веры, звук открываемой ею двери и как она захлопнула ее за собой, гуд-

ко и навсегда. Туда же, не оглядываясь, полетела высоченная Таня, немного посидев у камня с опухшим лицом и глазами-целочками. И ее симпатичные подружки.

Таня пошла туда, как на подвиг, на правое дело, а Вера, скорей, с отчаянья. Будь у нее дочка... Но это несколько не умаляет Веру. А я теперь не могу ни так, ни эдак. Не взяли они меня. Почему?

И вспомнила слова Веры: "Ты еще помучаешься. Тебе нужно", представила себе узенькую тропиночку, идущую прямо.

- Прямо пойдешь - покружишь, намучишься, сюда же придешь.

Вот туда-то и надо ей, потому что рано еще ей налево, а направо она не может.

У камня лежали кости человеческие и сидела та самая женщина Лубинных снов. Она показала Любе на кости:

- Вот эти здесь все жизнь проторчали, выбрать дорогу не смогли. Так и померли здесь, у камня. А я работу себе нашла: приветствую всякого, здесь останавливающегося, благословляю идущих налево, рукой машу тем, кто выбрал направо, подскажу тем, кто не знает, всякого народу тут насмотрелась, сразу вижу, кому куда надо. Дай благословляю и тебя, Любовь. Налево нужно отравляться, когда ничего другого для тебя не останется. Походи еще, покружи, Любушка, редкая эта тропинка, да трудная, не всякий ее выдерживает и вертает, кто вправо, кто влево.

Люба очнулась. Как и раньше, она сидела у здания своего института. Она была просветленно счастлива и решила написать обстоятельно о Тане, Вере, о Катерине и этой женщине у камня. Она не знала еще, как напишет, знала лишь, что напишет и вспомнила, как сказала Вера: "Должен кто-то и людям о нас шепотом рассказать."

- Ничего, поблуждаю по лесу, напишу сказку, а там видно будет.

Люба почувствовала такую радость, такую собственную свою силу, легко ветала со скамейки и увидела вдруг свое отражение в стеклянных дверях института и громаду здания, нависшую над ней.

- Какая я маленькая! - поразилась она и погрузилась.

- Ну так и что. Какая уж есть. И не такая маленькая.

Она направилась, тоненькая и хрупкая, к этим дверям. Двери вдруг открылись и выпустили женщину, ту самую женщину Лубиних снов. Женщина одобрительно посмотрела на Лубу.

- А ты - молодец. Так держать. Придет еще твой час. Просто не пора еще.

- Послушайте, а откуда вы меня знаете?

- Да ты как-то маленькая потеряла маму и плакала, а я тебе дала яблоко.

Мама потом прибежала, испуганная, с другой девочкой. И подумала, что за чудесная семья. Другая девочка была чуть тебя повыше и темнее, а ты - совсем рыжая, а одежды вы были одинаково. Вы с той девочкой - двойняшки?

- Нет, близнецы. Я на полчаса ее старше.

- Забавно, я как-то вас видела на улице вдвоем, недавно совсем, она чуть ни на полголовы выше тебя.

- На 10 сантиметров.

- Непохожи... Я тогда подумала, отчего это некоторые сразу рождаются хорошими. Прямо на лице написано, что из них выйдут чудесные люди. Интересно, почему? - И, не давшемуся ответа, пошла.

Луба смотрела, как она спускается с лестницы, как к ней подбежала девочка лет семи с маленькими тугими косичками, торчащими в разные стороны. Косички эти, видимо, заплели ей недавно, девочка явно ими гордилась и непрерывно, с наслаждением потряхивала головой. И весело при этом взлетали огромные, ярко-желтые, почти золотые банты. Женщина удалялась, ведя девочку за руку. Та скакала за ней вприпрыжку, а солнечные ленты шип в ее косичках жизнерадостно прыгали и металась из стороны в сторону.

Луба открыла дверь.

- Ну что ж, не пора, так не пора, - спохватилась, что так и не узнала имени женщины.

- И не надо. Так даже интересней.

И закрыла за собой дверь.